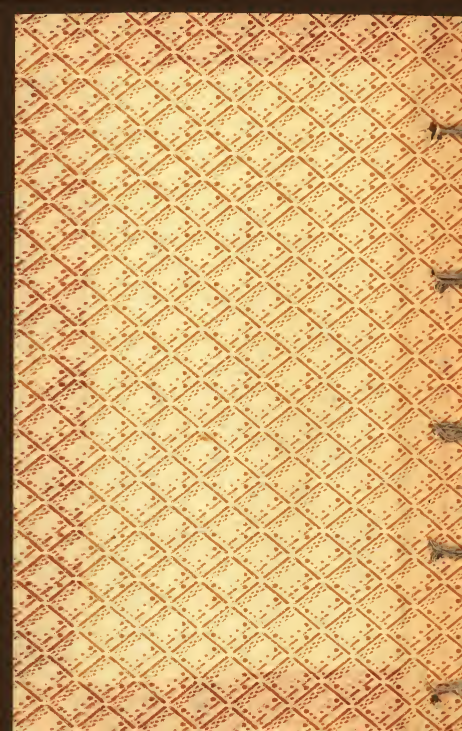

Подвиг





библиотека

ГЕРОИКИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

приложение к журналу
"сельская молодежь"





издательство цк влксм "молодая

В. ОСИПОВ

"молсрдия" москва 1976


В. ОСИПОВ
роман


АПРЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Петербург.

26 февраля 1887 года.

Утро.

Конспиративная квартира на Александровском проспекте.

Лихорадочно работавшая всю ночь группа террористов приводит наконец в боевую готовность три разрывных метательных динамитных снаряда.

Вставлены запалы.

Названы пароли, отзывы.

Уточнены явки.

— Присядем, — говорит кто-то негромко, — присядем по обычаю.

Все садятся.

Тишина.

Мысль у всех одна: «дорога» на этот раз может оказаться дальней. Очень дальней.

Пора.

Рукопожатия. Улыбки.

Слов мало. Все давно обговорено, обдумано.

Выходят по одному. Впереди — дозорный.

Спустился по лестнице. Перешел на другую сторону улицы. Дошел до угла. Обернулся. Вынул платок. Путь свободен.

Через полчаса боевая группа уже на Невском.

Медленно идут друг за другом по правой стороне проспекта к Казанскому собору четыре человека. Интервал — двадцать шагов.

Первый — сигнальщик.

Второй — сигнальщик (запасной).

Третий — террорист, метальщик бомбы.

Четвертый — прикрывающий.

По другой стороне улицы, параллельно первой группе, — еще двое. У каждого в руках сверток. Бомбы.

26 февраля — царский день. Сегодня по Невскому проспекту из Аничкова дворца в Исаакиевский собор должен проехать император Александр Третий. В Исаакии — панихида по убитому шесть лет назад народовольцами Александру Второму. И именно сегодня царствующий сын должен разделить участь своего почившего в бозе августейшего отца. Три бомбы, брошенные в царский экипаж, должны уничтожить здравствующего императора России.

Группа доходит до Казанского собора. Царского выезда не видно. Террористы перестраиваются: четверо переходят на левую сторону улицы, двое — на правую.

Еще один проход до Полицейского моста, до поворота к Исаакию.

Царя нет.

Снова меняются местами участники покушения.

Казанский собор.

Царя нет.

Полицейский мост.

Царя нет.

Казанский собор.

Царя нет.

Полицейский мост.

Царя нет.

Старший боевой группы подает условный знак: всем отходить к Исаакию и ждать императорский экипаж там.

Террористы собираются у южного портала храма. Стоят в пяти-шести шагах друг от друга. Сигнальщики перешли на противоположную сторону, чтобы оповестить заранее о приближении высочайшего кортежа.

Проходит час, второй. Около собора гудит, шевелится огромная толпа народу. Цепочкой вытянулись городовые. Конная полиция. Шпики.

В боевой группе — заметный спад настроения. Старший принимает решение: еще один маршрут на Невский.

Порядок движения старый. Четверо идут по одной стороне улицы, двое — по другой.

Сворачивают на Невский. Казанский собор. Поворот. Полицейский мост. Поворот. Казанский — поворот. Полицейский — отход к Исаакию.

Но здесь уже нельзя стоять долго. Толпа поредела, на месте остались только городовые и полиция. Старший снова уводит группу на Невский.

Настроение окончательно сбито. Все иззяблись, проголодались. Тяжелые снаряды оттягивают металлщикам руки. Старший понимает: группа потеряла боеспособность, надо расходиться. А если именно сейчас появится царь?

Последняя попытка. Если неудача — будет дан общий сигнал отбоя.

На этот раз террористы идут по Невскому, уже не соблюдая интервала. Чтобы не бросалось в глаза их знакомство друг с другом, задерживаются у витрин, читают объявления. Сигнальщики изображают подгулявшую компанию (так условлено заранее).

Подходят почти к самому Аничкову. На мгновение задерживаются возле дворцовых решеток. У входа — гвардейский караул. Одеревенело застыли в будках солдаты. Гусиным шагом ходят вдоль полосатых шлагбаумов офицеры. Тишина. Спокойствие. Никаких признаков ожидания высочайшего выезда.

Участники покушения смотрят на старшего. Отбой?

Старший медлит. На лбу прорезается упрямая складка. А если император приедет на панихиду из Михайловского дворца? Или из Зимнего?

И он снова делает знак — всем двигаться к Исаакию.

Здесь уже почти совсем нет зрителей. Но кордоны городовых и полиции по-прежнему на месте. Значит, еще не все потеряно! Именно в это время, когда около собора осталось совсем мало народу, может подъехать Александр III. Царь избегает большого скопления людей во время своих выездов. Он хорошо помнит о судьбе отца. И поэтому как раз сейчас, в сумерки, когда зеваки, устав ждать, разошлись, может показаться императорский экипаж.

Темнеет. Падает мокрый снег. Холодный ветер со стороны залива крепчает с каждой минутой. Террористы еле держатся на ногах: слякотный зимний день, проведенный на улице в тисках нервного напряжения, без куска хлеба во рту, доконал всех.

На углах зажигают газовые горелки. Огромные оранжевые шары, уныло размытые по краям мокрым снегом, повисают в воздухе... Все. Конец. Ждать больше незачем. В такое время и в такую погоду цари не выезжают. Даже на панихиду по собственным родителям.

Старший, спрятав на груди бомбу, подходит к околоточному надзирателю. Дурашливо улыбаясь, спрашивает:

— Ваше благородие, скажи наприклад хоть ты мне... Зачем это войска столько возле храма собралось? Не батюшку ли царя, нашего милостивца, к службе ожидают, ась?

Полицейский смерил взглядом прохожего, остаиовился на куньей шапке. Дурак, но, видно, из богатых. Ответил сдержанно, с достоинством:

— Так точно-с, ожидали. Непременно должиы были пожаловать государь на помииание об ихнем папеньке. Но сегодня, видать, уже не приедут. Поздно-с.

Старший поблагодарил, отошел в сторону.

Возле собора слышатся команды — конные городовые, строясь на ходу в колонну, отъезжают от Исаакия по направлению к Адмиралтейству.

Старшнй снял шапку, трижды истово осеинл лоб широкнм крестным знаменнем. Положил в сторону собора малый поясной поклон.

Это был условный снгнал: всем расходиться на ночь по своим местам и квартирам.

II

Петербург.

27 февраля 1887 года.

Утро.

Из дома № 21 по Александровскому проспекту выходит невысокого роста худощавый молодой человек с бледным, иапряженно озабоченным лицом и пристальным взглядом темных, глубоко посаженных глаз. Засунув руки в карманы пальто и подняв воротник, медленно идет он вдоль ветхих деревянных домов, направляясь к центру города.

Его неторопливая, но в то же время иастороженная походка, слегка наклоненная вниз голова, нервно прнподнятые плечи, плотно прнжатые к бокам руки — вся его чуть ссутулившаяся, тревожная фнгура говорит о том, что обладатель ее до краев переполнен беспокойными мыслями, взволнован ожиданием каких-то большнх и важных известий.

Сосредоточенио глядя под ноги, худощавый молодой человек пересекает улицы, площади, проходит один квартал за другим, оставляя позади набережные, дворцы, пустынные парки...

Бешеный скок копыт...

Грохот стремительно догоняющего экипажа.

Он остановился. Замер. Весь подобрался. Это — за ним.

Экипаж промчался мимо. Резко накренился на повороте.

Обдал фонтаном грязного снега гранитный парапет набережной.

Он посмотрел по сторонам... Нет, никто из прохожих ничего не заметил. Только городовой на углу задержал было взгляд на его бледном продолговатом лице, белым пятном мелькнувшем на противоположной стороне улицы.

Несколько минут он шел не разбирая дороги, все еще находясь во власти пережитого волнения. Неожиданная мысль обожгла сознание. А что, если?.. Совершилось. Уже... Царь убит! И в этой карете, бешено пролетевшей по мостовой, мчался во дворец какой-нибудь высокопоставленный вельможа, раньше других узнавший о смерти Александра III.

Скорее в центр города! Если царь убит — там это уже будет заметно... Вывесят траурные флаги, приспустят императорский штандарт над Аничковым...

Уже за несколько кварталов до центральных улиц он понял: его предположение не подтвердилось. Все тихо, спокойно. На перекрестках, тротуарах, в магазинах и лавках продолжалась все та же обычная, будничная суета — как и вчера и позавчера, неделю тому назад, месяц.

...Он дошел до конца Гороховой, обогнул Адмиралтейство, искоса посмотрел на громаду Исаакия, прищурился на Медного всадника и, повернув направо, двинулся к Дворцовому мосту. Далекий луч солнца вспыхнул на шпиле Петропавловского собора и тут же погас. «Вот так же и мои надежды», — подумал он.

Игла крепостной церкви, поймав луч невидимого солнца, вспыхнула еще раз — резко и быстролетно. Это было похоже на взмах огромного сказочного меча. Шпиль Петропавловки разрубал небо над городом пополам. Копье соборной иглы вонзалось в скрытого за облаками врага. А ведь Петр I, пожалуй, строил этот город с военными целями и для того, чтобы ускорить экономическое развитие России, подумал он. Его ничтожные наследники (в том числе и просвещенная матушка-крепостница Екатерина II) полтора столетия задвигали Россию обратно, в лапотный сумрак феодального рабства... Манифест Александра II превратил Россию в гигантский земельный рынок, подобного которому не было во всем мире. Земля стала товаром. Земля продавалась в неограниченном количестве. Были бы деньги... Бывшие крепостники-помещики стали помещиками-капиталистами. Как на Западе. Но пойдет ли Россия по пути Запада?

Он остановился посредине моста. Над Невой опускалось мглистое марево. Туман смазывал перспективы далеких зданий. Город погружался в ранние фиолетовые сумерки.

И все же у России свой путь развития. Крестьянская общи-

на? Переход к социалистическому устройству через характерное только для России общинное землепользование?..

Но о каком социалистическом устройстве можно говорить, когда в стране нет элементарных политических свобод — свободы слова, свободы печати, свободы собраний. Запрещены даже студенческие землячества. Мыслящая часть общества не имеет никакой возможности не только принимать хоть какое-нибудь практическое участие в судьбах своей страны, но и даже открыто обсуждать эти судьбы... Тупая, неограниченная, самодовольная власть одного человека над многомиллионной страной, над гигантской территорией, богатства которой могли бы сделать счастливым и сытым все ее население... И эта власть одного над многими не вызывается никакой общественной необходимостью, а, наоборот, противоречит потребностям общества, тормозит развитие Русского государства.

Все правильно. Царь должен быть убит. Нужно показать России, что борьба продолжается, что революция не сложила оружия, что в России есть еще люди, для которых избавление родины от несчастий и бед дороже личного благополучия.

...Он возвращался домой поздним вечером. Усталость валила с ног. На дальнем углу из тусклого оранжевого мерцания фонаря выдвинулась знакомая женская фигура. Аня?.. Зачем в такой поздний час на улице?

Он замедлил шаг... Засада... На квартире его ждут жандармы... Родная сестра хочет предупредить его...

Ерунда. Аня ничего не знает, ни во что не посвящена... Так в чем же тогда дело?.. Аня просто решила зайти к нему, но увидела в окнах полицию... Как быть?.. Повернуться и уйти? Куда? Все равно арестуют.

Аня подошла, подняла голову, остановилась.

— Саша? — удивленно спросила она и улыбнулась.

— Ты была у меня?

— Нет, а что?..

Он ничего не ответил. Она придвинулась ближе.

— Что с тобой, Саша? Почему ты такой бледный?

— Замерз, холодно...

— Хочешь, пойдем ко мне, выпьем чаю?..

— Нет, нет, мне нужно... заниматься. А где ты была так поздно?

— Ты знаешь, — сказала Аня, — у нас на курсах прошел слух, что в Волковской деревне появился какой-то особенный народный учитель. Прямо Ушинский! И я решила послушать его... Ничего особенного. У папы в школах было сколько угод-

но таких Песталоцци. И даже получше. А на обратном пути завернула на Волково кладбище.

— На кладбище? Почему?

— Недавно же папина годовщина была...

— Ах да... Но ведь он не здесь похоронен.

— Все равно... Походила там, поплакала...

— Почему же ты плакала?

— Разве непонятно? Подумала о маме, младших... Они там совсем одни теперь остались.

— Аня, это нервы...

— Ты не был, когда хоронили папу...

— Но ты же знаешь, почему я не был.

— ...собрался весь город, говорили такие речи...

Аня вынула из сумочки платок, приложила к глазам.

Саша смотрел на сестру и не знал, что сказать ей, чем утешить. Полтора месяца назад исполнилась годовщина со дня смерти отца. На похороны в прошлом году он не ездил — мама не дала ему телеграммы. Не хотела отрывать от курсового сочинения по зоологии. Права ли была мама? За сочинение он получил большую золотую медаль, но отца в последний путь не проводил...

— Аня, уже поздно. Иди спать.

— Ты знаешь, я заблудилась, когда выходила с кладбища...

— Спокойной ночи, Аня.

— Мы увидимся завтра?

— Не знаю. Завтра у меня много дел.

— Я зайду к тебе попозже, вечером... Можно?

— Хорошо...

И они расстались 27 февраля 1887 года на холодной и темной петербургской улице, в тусклом мерцании оранжевого фонаря, родные брат и сестра Ульяновы, даже не догадываясь о том, что видят друг друга последний раз.

Петербург.

28 февраля 1887 года.

Утро.

Отблески солнца играют на острых пиках решетки Аничкова дворца. Будто древняя новгородская дружина, подняв вверх копья, окружила несокрушимой стеной монаршье гнездо.

У полосатого шлагбаума — рокот барабанов, звуки рожка, мерный топот ног: смена гвардейского караула.

Ярко сверкают кирасы и шлемы конногвардейцев. Покачиваются в такт цоканыю копыт многоцветные султаны. Гортанные слова кавалерийских команд. Вспыхивают, взлетая в приветствии, и гаснут, падая, клинки и палаши.

III

Посверкивая синеющими штыками, уходит через стекло и зеркала центрального подъезда во внутренние императорские покои взвод огромных павловцев в медвежьих шапках. Царь может спать спокойно: за такими молодцами ему некого бояться, не о чем беспокоиться.

Но уже стоит на противоположном берегу реки, на углу Невского и Фонтанки, лобастый, плечистый молодой человек в куньей шапке. Зорко следит он пристальным, чуть косящим взглядом за всем, что делается около входа во дворец.

Его зовут Василий, фамилия Осипанов. Он студент Петербургского университета. В руках у него, как и положено студенту, книга. Но сегодня книга наполнена динамитом. Студент университета Осипанов пришел к Аничкову дворцу, чтобы убить царя.

Один за другим собираются участники покушения. Не глядя на руководителя боевой группы, проходят мимо. Подают короткий незаметный сигнал — «У нас все в порядке». Получают отзыв — «У нас тоже». И занимают свое место.

Сегодня решено не ждать царя у Исаакия, не ловить случайные шансы на Невском. Нападение на высочайший кортеж будет произведено прямо при выезде царского поезда из ворот дворца. Лишь бы конвоя перед императорской каретой было поменьше.

Осипанов бросает быстрый взгляд на участников покушения. Все на местах. И сигнальщики и метальщики. И вроде бы ничем не выделяются в общем потоке прохожих. Теперь ждать.

...Царь не показывался. Снова терялось преимущество быстрого и внезапного нападения. И нельзя больше так долго стоять здесь, перед самым входом во дворец. Наверняка здесь есть свои шпики, охраняющие Аничков. Как ни хорошо маскируются террористы (все время двигаются, перемещаются, заходят в магазины, лавки, заговаривают с прохожими), все равно они могут быть замечены. Подозрительный тип в гороховом пальто уже третий раз проходит мимо.

Осипанов быстро отвернулся к заклеенной афишами театральной тумбе, около которой он предусмотрительно остановился. В стеклянной витрине соседнего модного магазина хорошо были видны дворцовые ворота. И прямо напротив них стоял Михаил Канчер — один из сигнальщиков.

Гороховое пальто остановилось сзади. Осипанов углубился в чтение афиши. На одной из них был наклеен «Правительственный вестник». Осипанов быстро пробежал глазами объявле-

ння и вдруг замер. Виачале он даже не поверил себе: «Министр императорского Двора имеет честь уведомить гг. первых и вторых чинов Двора и придворных кавалеров, что 28-го сего февраля имеет быть совершена в Петропавловском соборе панихида по в Бозе почивающем императоре Александре II...»

Прочитал второй раз. Так. Все ясно. Надо делить группу. Глянул в витрину магазина. Канчер по-прежнему стоит перед воротами дворца. Горохового пальто за спиной нет.

Осипанов пересек улицу, подошел ко второму металыщику Василию Генералову.

— Позвольте узнать, который час?

Генералов медленно, не торопясь, достает «застрявшие» в кармане жилета часы. Осипанов говорит тихо, еле заметно двигая губами:

— Царь перенес панихиду в Петропавловку. Я буду ждать его там. Беру с собой Волохова. Вы остаетесь здесь. Старайтесь не примелькаться. Сбор на второй явке.

И очень громко:

— Покорнейше благодарю.

Перешел через мост. Делает условный знак «следуй за мной» одному из сигнальщиков (Степану Волохову, гимназисту) и быстрым шагом удаляется по набережной Фонтанки.

И не знает Василий Осипанов, что следом за ним и Волоховым с разных точек наблюдения отправляются агенты сыскного отделения...

Да, уже с 28 февраля все непосредственные участники предстоящего покушения на Александра III находятся под контролем полиции. Террористы выслеживают царя, а их выслеживают филеры. Двойная охота. След в след. Нападающие, еще не совершив своего нападения, уже становятся жертвами.

А все дело в пустяке, в случайности. Пахом Андреюшкин — третий металыщик, весельчак и балагур Пахом Андреюшкин, стоящий перед Аничковым дворцом с динамитным снарядом в руках, — этот всеми любимый Пахом Андреюшкин допустил ошибку, оплошность.

Незадолго до покушения в одном из писем товарищу Пахом намекает на то, что в столице ожидаются крупные события и что есть люди, которые в самое ближайшее время наденут терновый венец за светлое будущее родины.

Письмо попадает в полицию. Накануне выхода террористов на Невский проспект за Андреюшкиным устанавливают слежку. И вот выясняется, что второй день подряд он проводит в центре города, тайно разговаривая с молодыми людьми, которые делают вид, что совершенно не знают друг друга.

Установлено, что группа состоит из шести человек. Пятеро — студенты университета. Полиция еще не догадывается, что в руках у Андреюшкина и двух его товарищей — разрывные снаряды. Полиция еще ломает головы над причинами странного поведения наблюдаемых. Полиция еще лихорадочно совещается с высшими чинами охранки — брать или не брать? Арестовывать или подождать, пока намерения студентов не выяснятся до конца?

У центрального входа во дворец — оживление. Стеклянные двери и зеркала отражают мундиры гвардейских офицеров, образовавших живой коридор около парадной лестницы.

Легкая суета во дворе, и прямо к ступеням, закрыв собой весь выход, подъезжает длинная резная карета с императорским вензелем. Ездовые успокаивают танцующую четверку донских полукровок. Одеревенели на запятках ливрейные лакеи.

Медленно, со скрипом поднимается полосатый шлагбаум...

Все, сомнений больше нет. Высочайший выезд. Внимание!

Михаил Канчер, первый сигнальщик, стоявший до этого спиной к дворцу, облокотившись о парапет набережной, как бы разглядывая покрытую льдом Фонтанку, резко выпрямляется, расстегивает все пуговицы своего пальто, тут же застегивает их и быстро идет к Невскому.

Петр Горкун, второй сигнальщик, изучавший достоинства конной статуи на мосту, вынимает носовой платок, сморкается, роняет платок...

Из табачной лавки быстро выходит Андреюшкин. Рука чуть надрывает упаковку свертка, ложится на предохранитель...

Несколько пар полицейских глаз жадно впиваются в Пахома. Что будет? Чего он хочет, этот проклятый Андреюшкин, будь он трижды неладен!

Пахом скашивает глаза влево. В модном магазине за стеклянной витриной — Генералов. Пахом дотрагивается левой рукой до правого уха. Это сигнал Василию — приготовиться...

Щелкнул кнут у дворцовой лестницы. Цоканье копыт...

Андреюшкин сходит на мостовую. Ну, прощай, жизнь молодая, прощай, красна девица!

Генералов выходит из магазина, надрывает бумагу на свертке...

У агентов от напряжения слезятся глаза. Чего же они, в конце концов, хотят, эти чертовы студенты?

Из ворот Аничкова дворца показывается царская карета...

Андреюшкин должен бросать первым.

У Пахома самая сильная бомба: разносит вдребезги все в радиусе пяти саженей.

Андреюшкин должен погибнуть. Он должен остаться лежать на месте покушения. Рядом с царем.

Он знает это.

Если царю повезет — бросает Генералов.

Если и тогда царь жив — Генералов стреляет в него из пистолета. Отравленными пулями.

...Царская карета приближается к месту, где стоят террористы.

В последний раз бросает взгляд на синее небо Пахом Андреюшкин. Губы сами шепчут привычное с детства: «Господи, прости и помилуй...»

Андреюшкин делает шаг навстречу экипажу...

Но что это?

На другой стороне улицы Генералов лихорадочно засовывает бомбу под пальто, делает отчаянные знаки: отставить! Отставить!

Пахом отдергивает руку от предохранителя. Быстрый взгляд на карету — царя нет. Только на заднем сиденье, откинув назад голову, сидит в одиночестве нарумяненная, напудренная императрица Мария Федоровна.

Пахом, как во сне, снимает шапку, автоматически кланяется, крестится. Руки у него трясутся. Спина — взмокла.

Карета промчалась. Генералова на противоположной стороне улицы уже нет. Пахом надевает шапку, благостно улыбаясь, возвращается на тротуар. Он уже снова в игре, снова изображает «деревню», озадаченную и осчастливленную высочайшим проездом.

Поплутав для видимости еще некоторое время в центре города, Андреюшкин уходит на назначенную ему для ночевки квартиру. Сыскные и филеры надежно «ведут» его.

«Ведут» они и Генералова, который в суматохе проезда ея императорского величества чуть было «не соскочил», чуть было не ушел от «Николай Николаевича» — так называют секретные агенты свой нелегкий всепогодный труд: наружное наблюдение — по первым двум буквам.

Давно уже приведен на место из Петропавловки и «сфотографирован» Осипанов (то есть установлено, что наблюдаемый лег спать). Осипанов первый узнал, что панихида перенесена на следующий день. По пути из Петропавловки он завернул к Аничкову, чтобы предупредить товарищей, но группы на месте уже не оказалось.

...Много лет спустя дневники великосветской дамы объясин-

ли причину, спасшую Александра III в последний февральский день восемьдесят седьмого года.

В тот день утром император узнал, что молодая особа, благосклонного внимания которой он тайно добивался, вернулась наконец в Петербург из-за границы.

Панихида была отменена. Императрице Марии — Софье — Фридерике — Дагмар Христиановне (она же Мария Федоровна), которая хотела бы вместо панихиды повезти мужа обедать к великому князю Владимиру Александровичу, царь на плохом французском языке (Александр Александрович, как известно, не был силен в письменной грамоте) написал записку: «Дагмар, у меня важная работа. Вам придется ехать одной. Извините меня».

Так разминулись в последний зимний день 1887 года предпоследний самодержец всея Руси и студенты Петербургского университета, ждавшие царя на Невском проспекте с бомбами.

IV

Петербург.
28 февраля 1887 года.
Вечер.

Он потушил свет, лег в темноте на кровать. Закрыл глаза. Слышно было, как стучит кровь в висках. Сердце делало несколько обычных ударов, потом один — глубокий и сильный, во всю ширину груди; тогда казалось, что он летит куда-то, падает вниз — с неведомой высоты в неопределенную, бездонную глубину.

Сегодня, второй день подряд, на квартире у товарища по террористической группе он продолжал печатать программу их организации, которая в случае удачи покушения должна была быть немедленно доведена до всеобщего сведения. В глазах рябило от букв, свинцовый типографский запах продолжал ощущаться неотступно.

...В дверь постучали. Неся перед собой лампу, вошла хозяйка квартиры в чепце и в накинутом на плечи большом пуховом платке. Свет, гоня перед собой темноту, пополз по стенам.

Хозяйка поставила лампу на стол, пристально взглянула на квартиранта. Из полумрака комнаты чужими, незнакомыми глазами, сумрачно, напряженно, исподлобья смотрел на нее молодой ее жилец, которому в эту минуту можно было дать не двадцать лет, как это было на самом деле, а все сорок, если не больше.

— Что с вами, Саша? Вы нездоровы? — тихо спросила хозяйка.

— Нет, я здоров.

Он поднял голову.

— У вас что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось.

— Вы какой-то странный сегодня, сидите один, в темноте. И вообще, в последнее время я стала замечать перемену в вашей жизни. К вам перестали ходить товарищи...

— Нужно заниматься, три месяца осталось до окончания курса.

— Может быть, у вас какие-нибудь неприятности?

— Нет, нет, что вы! Какие у меня могут быть неприятности? Просто задумался...

Он поднялся, заставил себя улыбнуться.

— Нужно спать идти, завтра вставать рано...

Улыбка вышла неискренняя, деревянная, но хозяйка, кажется, успокоилась... Она взяла лампу, наклонила голову прощаясь и вышла.

Нужно заснуть... Дышать глубже... Дышать спокойно и ровно... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать...

Сон не шел. Мысли путались, прыгали, перескакивали с пятого на десятое, всплывали обрывки недавних событий, наползали друг на друга неясные видения, туманные картины, тянулись к горизонту темные силуэты зданий, высились над ними зубчатые башни, крепостные стены красного кирпича, вспыхивали на солнце и падали вниз готические шпили...

...Призраки, призраки, призраки витают над Петербургом... Августейший сын душит венценосного отца... Царствующая императрица лишает жизни мужа-императора... Десятилетиями трон в России замеияется кроватью. Судьбы огромной страны, многомиллионного народа решаются временщиками и фаворитами из августейших постелей, в угаре похоти и низменных страстей — какие еще чувства, кроме презрения, можно питать к потомку развратного и грязного рода Романовых, ныне здравствующему императору Александру III? Какой еще участи, кроме немедленного физического уничтожения, можно желать этому мстительному наследнику коронованных уголовников, превратившему общественную жизнь страны в сплошное сведение счетов с интеллигенцией (поголовно виноватой, по его мнению, в убийстве его отца), ненавидящему из-за своей полуграмотности и необразованности всякое просвещение и всякую науку, пытающемуся заставить университеты жить по законам

карцера, а печать и передовое общественное мнение по правилам развода караула в Михайловском манеже?

Нет, сон положительно не шел. И никаким счетом невозможно успокоить нервы, до предела взвинченные ожиданием известий об убийстве царя. Никакими искусственными средствами нельзя унять возбуждение мыслей и чувств.

Он встал с кровати, подошел к окну. Мрак ночи давил на крыши, глазницы домов были темны и безжизненны, и только иногда то там, то здесь зажигалось на мгновение несколько окон и тут же гасло, и это делало ночной город похожим на придавленное к земле, огромное умирающее чудовище, которое сопротивляется ядовитым парам удушья, все еще силится жить, тяжело поводя боками, открывая то один глаз, то другой, но жизни и воздуха ему уже не хватает, оно дышит все натужнее, все безнадежнее, и вот уже слышен предсмертный хрип...

Да, воздух над этим городом смертельно отравлен микробами подлости, продажности, жестокости, рабства... Воздух над этим городом пронизан проклятиями миллионов русских людей, вынужденных своим каторжным трудом содержать всех этих паразитирующих аристократов во главе с правящей династией, которые не приносят никакой практической пользы, а, напротив, всеми силами, и не без успеха (так как в их руках власть в стране), тормозят живое движение русской жизни вперед, потому что оно грозит им потерей их привилегий, приобретенных еще дедами и прадедами, может лишь обеспеченной, сытой, беззаботной жизни — незаслуженно сытой! незаслуженно обеспеченной! — так как сытость и обеспеченность по справедливости должны быть не следствием происхождения (происхождение — момент пассивный, игра природы, в нем нет активной заслуги личности), в результатом собственных усилий, личного труда.

Паразитирующая верхушка русского общества во главе с династией и царем не создает ничего полезного, ничего необходимого для народа — ни знаний, ни организующего начала, ни материального продукта, а живет только наслаждениями, праздностью, удовольствиями, сладострастием, кутежами, интригами, казнокрадством, спекуляцией, коррупцией.

Мишура бессмысленных парадов и балов, призрачный маскарад придворной и светской жизни, зелень карточных столов, миллионные проигрыши, ночные попойки великих князей — племянников, братьев, кузенов Александра III, реки шампанского, продажные женщины, дома терпимости, цыгане, лихачи — вот что такое Петербург.

И в этот город, в это гнездо пороков и общественных язв

так стремился он когда-то из своего любимого, светлого, яблоневого Симбирска?.. Зачем? Ведь даже то, к чему так рвалась душа — университет, наука, знания, — даже это с каждым днем становится все более и более недоступным, невозможным и нестерпимым. (А похороны Тургенева?.. Ощущения борьбы и протеста, которые впервые возникли, пожалуй, именно в тот день...) Университетская жизнь до предела сжата чугунными челюстями нового, почти арестантского университетского устава. День ото дня она, эта некогда вольная, демократическая университетская жизнь — земля обетованная после девяти лет гимназической зубрежки — все сильнее выхолащивается и обесцвечивается бесконечными чиновничьими инструкциями Министерства народного просвещения. Лучшие профессора увольняются из университета за прогрессивные взгляды, за нежелание раболепствовать перед ничтожным самодержцем. Закрываются передовые журналы (месть Александра III за убийство отца — рассчитанная, обдуманная, многолетняя месть)...

Это не может, не должно так продолжаться. Нормальный человек не имеет права терпеть такую жизнь. Это позор — безропотно сносить издевательства над естественным стремлением человека к прогрессу... Стыдно жить, не делая никакой попытки изменить существующий порядок!

И если царь — главное олицетворение незыблемости этих порядков, царя необходимо убрать. Нужно показать: революция продолжается, в России есть революционеры, есть люди, которые думают о завтрашнем дне родины.

И пусть не удалось убийством Александра II всколыхнуть Россию. На смену Желябову, Перовской и Кибальчичу пришла их группа. И если им завтра удастся убить Александра III, то, может быть, Россия, пораженная убийством двух царей подряд, сбросит с себя мертвое оцепенение, проснется от зимней спячки и выразит желание устроить свою жизнь по-новому.

А если Александр III будет убит, но всеобщее пробуждение не наступит... ну, что ж... наше дело не пропадет. Нет, не пропадет! Пусть это второе цареубийство бросит новый луч света в темное царство русской жизни. И если нам суждено погибнуть на эшафоте, как желябовцам, — за нас отомстят! Революция будет продолжаться! Наши жизни станут тем мостом, который свяжет сегодняшний день с завтрашней революционной борьбой...

А может быть, в этом и есть задача нашего поколения? Не дать потухнуть искре революционного пожара? Ценой своих жизней возбудить в следующем поколении революционеров

жажду действня, желанне отомстить за нас? Может быть, только это...

Нет, нет, нет! Не только это! Еслн Александр III завтра будет убнт, Россня всколыхнется!.. Не может не всколыхнуться!.. Народ выскажет свое желаиие жить по-новому. Не сможет не высказать.

...Ои прижался лбом к холодиому стеклу окна. Сердце билось взволиоваиио, сильно... Бам-м... Бам-м... Бам-м...

Что это? Так громко бьется сердце?.. Ои иахмурил брови, прнслушался... Бам-м... Бам-м... Бам-м...

Он улыбнулся. На этот раз искренне н естественно. Ночная тишииа над городом, освобожденная от обычных дневных шумов н звуков, прнноснла нздалека полночный бой башенных часов. Кончался последний день зимы 1887 года. Начнналась весна.

V

Петербург.

28 февраля 1887 года.

Полиочь.

Двенадцать башенных ударов, глубоких н гулких, ширясь, плывут над городом.

Бам-м... Бам-м-м-м-м... Бам-м... Бам-м... Бам-м...

Спит камеиный город.

Спит Невский проспект.

Спит Исаакий.

Спит шпнль Петропавловской крепости.

Спит Адмиралтейская игла.

Спит Зимний дворец.

Спит Аннчков. Только неутомимые гвардейские офицеры непреклонно шагают вдоль полосатых шлагбаумов да застыли иа часах во виутренних покоях огромные богатыри-павловцы в медвежьих шапках.

Под цветистым, расшитым восточиымн узорами балдахином почивает Алексаидр Алексаидрович Романов — самодержец всея Руси.

Спит за стеной в соседней комнате дочь датского короля Христиана IX принцесса Дагмар (матушка-императрнца государыия Мария Федоровна).

Спит в противоположиом крыле дворца девятиадцатилетнний прииц Ника — наследник престола цесаревич Николай Алексаидрович, будущий император Николай II.

Спит рядом с ним шестнадцатилетний принц Гога — его младший брат, великий князь Георгий Александрович.

Они спят, четыре августейшие персоны, даже не подозревая, какое испытание приготовила им судьба на следующий день.

...Бам-м... Бам-м... Бам-м...

Спят «сфотографированные» в своих квартирах участники завтрашнего покушения.

Спят в подъездах домов напротив сыскные. Спят по-лошадиному, стоя: один глаз спит, другой наблюдает за подъездом, в который вошел с вечера необходимый человечишко.

Спят террористы.

Спит Пахом Андреюшкин. Много ли нужно человеку в двадцать один год? События минувшего дня позади, спасительный молодой сон освободил мысли от сомнений и тревожных ожиданий. Неудачи двух первых дней ослабили волнение, уменьшили (хотя бы в сознании) опасность предстоящей акции.

Спит Василий Генералов. Он еще моложе Андреюшкина. Ему ровно двадцать лет. Несколько часов назад он знал, что, уничтожив царя, он может исчезнуть из жизни и сам. Всего лишь несколько часов назад... Но сейчас он спит. Ему только двадцать лет.

И не спит, может быть, только один Василий Осипанов. Он старше всех. Ему двадцать шесть. Яснее, чем Генералов и Андреюшкин, понимает он, что все трое они уже обречены. Даже если они не погибнут от взрыва бомбы, им все равно не уйти с места покушения. Схватят тут же. Как хватали сразу же, на месте, всех, кто поднимал руку на царя, — Каракозова, Соловьева, Рысакова. И тогда конец один — суд, виселица.

...Бам-м... Бам-м... Бам-м... Бам-м...

Спит каменный город.

Спят улицы и площади.

Дворцы и храмы.

Колоннады и парапеты.

Стройно вырисовываются на фоне светлого северного ночного неба строгие силуэты ростральных колонн.

Чернеют, горбятся на Неве неясные очертания пароходов и барж.

Пустынны, безлюдны набережные. Неподвижны солдатские шеренги домов вдоль каналов. Перевернутые отражения зданий беззвучно падают в оцепенелые воды.

И только неуемный Медный всадник в неслышном грохоте копыт все продолжает и продолжает свою неутомимую погоню — бесконечный, упорный державный аллюр над Невой.

Только бронзовый ангел-хранитель благословляет с высоты

Александрийского столпа своим миротворящим крестом сон и покой города.

Бронзовый ангел-хранитель бодрствует неусыпно и круглосуточно над Дворцовой площадью.

Живые хранители августейшего рода Романовых пока еще спят в эту первую весеннюю ночь 1887 года.

Спит министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой.

Спит директор департамента полиции Дурново.

Спит шеф корпуса жандармов Дрентельн.

Спит петербургский градоначальник генерал-лейтенант Грессер.

Они спят, все четверо, даже не догадываясь, какая хлопотливая, беспокойная и неприятная жизнь начнется у них всего через несколько часов.

...Бам-м... Бам-м... Бам-м... Бам-м... Бам-м...

В доме № 21 по Александровскому проспекту стоит у окна молодой человек с бледным худым продолговатым лицом. Он так и не заснул в эту ночь на первое марта... Ложился, вставал, снова ложился, снова вставал...

Сосредоточенно-невидящим взглядом смотрит он на пустынную улицу. Под глазами у него темные круги. Болезненно натянута кожа на скулах. В уголках рта — две ранние горькие складки.

Александр Ульянов не спит вот уже несколько ночей...

Он ни разу не выходил с динамитными снарядами к решеткам Аничкова дворца.

Но он имеет самое прямое отношение к предстоящему нападению на Александра III. В его руках сосредоточены все нити покушения.

...Бам-м... Бам-м... Итак, все готово. Все мосты сожжены. Фигуры расставлены. Пора начинать партию. Бам-м... Бам-м... Что-то будет? Что-то будет? Бам-м... Царь должен умереть сегодня. Непременно! Бам-м-м-м...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Петербург.
1 марта 1887 года.
Утро.
Первый день весны. Воскресенье.

Выходит из дома, находящегося под неусыпным наблюдением полиции, с замаскированным под книгу динамитным снарядом студент университета Василий Осипанов. Невыспавшиеся, проторчавшие всю ночь под окнами филеры тайно следуют за ним. Они еще ничего не знают о намерениях Осипанова. Но тем не менее им приказано караулить каждый его шаг.

Энергичной, упругой молодой походкой почти бежит по улице вприпрыжку отдохнувший, выспавшийся Пахом Андреюшкин. Его бомба небрежно завернута в бумагу. Сыскные, в основном все подряд ревматики из-за многих часов, проведенных на промозглых, слякотных петербургских улицах, еле поспевают за быстроногим Пахомом.

От угла к углу, от перекрестка к перекрестку неотступно агенты «ведут» Василия Генералова. И о нем они еще не знают ничего. Ни про снаряд, невинно перевязанный розовой ленточкой. Ни про отравленные пули, которыми заряжен лежащий во внутреннем кармане пальто револьвер.

Это приметы петербургской весны 1887 года.

Три террориста, сходящиеся с разных сторон к Аничкову дворцу.

И полтора десятка сыскных, воровато и торопливо следящих за ними.

Наследник российского престола цесаревич и великий князь Николай Александрович Романов (в кругу семьи просто Ника) проснулся 1 марта рано, едва большие золотые часы с орлом над циферблатом (подарок варшавских ювелиров) мягко, почти неслышно пробили в ореховой гостиной семь раз.

Отослав камердинера, принесшего свежее белье, Ника сделал гимнастику и начал укладывать книги в дорожные баулы, которые секретарь цесаревича приготовил в кабинете еще с вечера. Сегодня папа́ и мама́ после заупокойного молебна в крепости по дедушке Александру Николаевичу, убитому злодеями шесть лет назад, уезжают в Гатчину.

Цесаревич и великий князь Гога едут вместе с родителями — сначала в крепость на панихиду, потом на вокзал.

Уложив книги и вещи, Ника берет из шкафа томик Гёте. Сегодня немецкий день — дети должны до вечера разговаривать только по-немецки. Дорогой мама будет приятно, если он прочитает несколько строф из Гёте.

В половине девятого в кабинет цесаревича влетает великий князь Гога.

— Какой мундир ты наденешь сегодня в крепость? — спрашивает младший брат у старшего.

— Конечно, преображенский, — уверенно отвечает Ника.

— Почему «конечно»? — интересуется Гога.

— Какой ты непонятливый, — морщится Ника. — Потому что папа любит преображенскую форму. А сегодня первое марта, тяжелые воспоминания... Нужно сделать для него что-нибудь приятное.

— В таком случае я надену измайловский мундир, — улыбается Гога. — Мне надоело каждый день делать то, что нравится папа.

Николай Александрович снисходительно смотрит на младшего брата. Шестнадцать лет. Возраст свержения авторитетов.

— Послушай, Ника, — говорит Гога, — а нас могут убить революционеры?

Цесаревич пожимает плечами, отвечает спокойно, рассудительно:

— Существуют полиция и жандармы.

— Ха-ха! Полиция, жандармы... А дедушка?

— Перестань, Георгий. Ты ведешь разговор, недостойный твоего положения. И вообще тебе еще рано говорить о подобных вещах.

Великий князь Гога пытается закончить неприятный разговор шуткой.

— Впрочем, зачем им убивать меня? — снова улыбается он. — Я же не наследник престола. Они будут убивать тебя. Потому что ты будущий царь.

Николай Александрович хмурится. В последнее время Гога стал что-то слишком часто подчеркивать, что наследником престола является не он, а старший брат. Мальчишеская зависть? Ревность? Это непозволительные настроения для члена императорской семьи.

— А если со мной что-нибудь случится, наследником станешь ты, — торжественно заканчивает цесаревич свою педагогическую тираду. — Наш папа тоже был вторым сыном и не должен был стать императором, а вот видишь — стал...

— Скажи, Ника, а ведь это только так говорят, что дядя Николя умер сам. На самом деле его тоже убили революционеры, да?

— Что за вздор? Откуда ты взял? Кто сказал тебе?

— Никто. Я сам так подумал.

— Какая чепуха! Папа стал наследником через четыре года после освобождения крестьян. Значит, дядя Николя умер... в шестьдесят пятом году. Тогда еще никаких революционеров не было.

Великий князь Георгий Александрович слушает брата рассеянно и невнимательно. Он еще слишком молод, этот кругло-

щекий и румяный великий князь. Ему многое еще нужно объяснять, разжевывать, втолковывать.

— И я прошу тебя надеть сегодня преображенский мундир, — отчетливо говорит цесаревич. — Я твой старший брат. Ты должен слушать меня. Это украшает и укрепляет семью. Вспомни историю. Родственные, братские узы были надежной основой многих исторических эпох. Если бы Наполеон не посадил своих братьев на престолы почти всех европейских стран, он никогда не смог бы создать своей огромной армии, никогда не сумел бы взять и сжечь Москву.

— Ты поможешь мне получить трон в Европе, когда станешь государем? — голос младшего брата наивен и беспечен, как будто речь идет о каком-нибудь малозначительном пустяке.

— Мы поговорим об этом завтра, в Гатчине. А сейчас иди к себе.

В девять часов на Невском проспекте в районе Аничкова дворца все уже в сборе: и террористы и полиция. Сыскных сегодня заметно прибавилось: высокий жандармский чин, вчера еще принимавший доклады о результатах наблюдения за Андреюшкиным и его связями у себя в кабинете на Пантелеймоновской, сегодня пожелал находиться уже в непосредственной близости от места скопления подозрительных лиц. Теперь он сидел в ближайшем от дворца участке, в двух шагах от угла Невского и Фонтанки. Каждые десять минут ротмистру докладывали о поведении наблюдаемых. Жандарму определенно не понравилось, что студенты собрались сегодня так рано. И по его приказу из охранного отделения было вызвано на подмогу еще несколько секретных чинов.

А участники боевой группы все еще не чувствуют на себе полицейских глаз. Они молоды и неискушены. Их жизненный опыт невелик. Им кажется, что все, что происходит вокруг, происходит так, как того хочется им самим, в точном соответствии с их намерениями и желаниями. И только один Осипанов, по свойственной ему повышенной осторожности, интуитивно ощущает, что около Аничкова произошли какие-то изменения, но какие — понять еще не может. Впрочем, сегодня все должно решиться. Царь умрет. И не все ли равно, что тут переменилось возле дворца. Лишь бы не успели схватить за руки, когда нужно будет бросать бомбу.

В половине десятого ротмистру докладывают: Осипанов подошел к Андреюшкину, спросил прикурить, что-то шепнул.

Жандарм нервничает. Он принимает решение: идти на Нев-

ский самому. Для этого нужно переодеться в штатское платье. Приносят какую-то вонючую крылатку и котелок.

— Вы что, с ума здесь все посходили? — кричит ротмистр на оробевшего околоточного. — От этого котелка за версту участком разит!

Наконец находят нечто более или менее удовлетворительное: смушковую бекешу и лисий треух. Чертыхаясь, жандарм снимает голубую шинель, напяливает чужие обноски и отдает распоряжение: во все прилегающие к углу Невского и Фонтанки переулки — извозчиков с крытыми возками; закрыть на Невском в непосредственной близости от Аничкова на полтора-два часа какую-нибудь небольшую лавчонку, из которой он сам, лично, будет руководить наблюдением (лавка должна иметь второй вход из соседнего помещения).

В половине десятого в Аничковом дворце старших великих князей просят пожаловать на кофе.

Гога и Ника входят в кофейную комнату, кланяются. Потом — к ручке мама и к папа. Александр Александрович снисходительно треплет по плечу младшего, здоровается за руку со старшим. Мария Федоровна с улыбкой смотрит на своих милых мальчиков.

Все садятся, слегка наклоняют головы — общая краткая молитва. Мария Федоровна разливает кофе (сегодня завтракают по-семейному, без слуг), предлагает мальчикам сливок. Гога тут же наливает сливки в чашку через край, капает на скатерть. Ника осуждающе смотрит на брата.

Императрица с нескрываемым удовольствием ухаживает за детьми. Император — блаженствует. Как это все-таки прекрасно и мудро: после вечера, проведенного накануне с очаровательной женщиной, сидеть на следующий день утром за кофе в кругу семьи — с женой, со старшими сыновьями.

— Дети, — говорит Александр Александрович дрогнувшим от нахлынувших чувств голосом, — вам уже сообщили сегодняшнее расписание?

— Да, папа, — почтительно склоняет голову набок цесаревич, — в одиннадцать мы выезжаем в крепость, а потом на вокзал — и в Гатчину. Мы узнали об этом вчера.

Мария Федоровна не может оторвать глаз от Ники. Как он обходителен, как тактичен. Кажется, судьба не ошиблась в своем выборе наследника русского престола.

А великий князь Гога шаркал под столом ногами, катал пальцем по скатерти хлебные крошки. Александр Александро-

вич, улыбаясь, наблюдал за вторым сыном. Гога нравился ему больше. То ли потому, что Ника более походил на Дагмар, а Гога — на него. То ли по какой-то другой причине. Император не знал. Он знал только одно: Гога нравится ему больше. Вот и все. Император не любил анализировать свои чувства.

Заметив, что отец уже давно и с улыбкой смотрит на Гогу, Николай Александрович снова переводит внимание на себя.

— Сегодня перед кофе я просматривал Гёте... — говорит он по-немецки.

На лице Марии Федоровны распускается куст сирени.

— ...и мне попались удивительные строки. Я хотел бы напомнить их вам, дорогой папа, перед тем, как нам ехать в крепость. И вам, мама.

— О, с удовольствием! — Мария Федоровна первая поднимается из-за стола и направляется в гостиную.

Цесаревич идет следом за матерью. Император и великий князь Гога замыкают шествие.

Августейшая семья располагается на диванах и в креслах вокруг столика из африканского базальта, подаренного, по преданию, еще прапрадедушке Павлу каким-то эфиопским негусом.

Ника раскрывает томик Гёте. Звучат строки великого немца. Глаза императрицы увлажняются слезами. Гога смотрит в рот старшему брату. Александр Александрович краем уха прислушивается к недостаточно энергичному, по его мнению, немецкому произношению сына.

Высокая минута поэзии и мудрости. Гармония мысли и чувства. Идиллия. Торжество семьи.

Александра Александровича на мягком диване клонит в дрему. Все душевные силы императора направлены на борьбу со сном. Он встряхивает головой, смотрит на часы и неожиданно резко встает.

— Господа! — громко, как в мужском обществе, говорит царь, забыв со сна, что сидит с женой и детьми. — Господа, да ведь уже половина одиннадцатого! А молебен назначен на одиннадцать. Пора собираться. Я жду вас всех внизу.

II

1 марта 1887 года.
Петербург.
Утро.
Без двадцати одиннадцать.

Три террориста стоят напротив царского дворца.

Ровно шесть лет назад в этот же первый день весны, 1 марта 1881 года, бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким, был убит император Александр II. С тех пор русское правительство неоднократно заявляло, что в России нет и никогда больше не будет ни одного террориста.

Прошло шесть лет. И вот они снова стоят напротив царского дворца с бомбами в руках.

Три террориста.

Три юных рыцаря революции.

Три титана, решившие отдать свою жизнь прямо здесь, на месте покушения, на обагренной царской кровью мостовой.

1 марта 1887 года.

Первый день весны.

Без четверти одиннадцать.

На дверях лавки колониальных товаров на Невском проспекте необычная для этого времени в воскресенье табличка: «Просим извинения у г.г. покупателей. Торговля временно закрыта для получения новых, весьма привлекательных товаров».

Внутри лавки — белый как мел хозяин грек. Рядом с ним боком к большому окну сидит в смушковой бекеше жандармский ротмистр.

— Я же вам сказал, — сквозь зубы шипит ротмистр, — не пяльте на меня глаза. Подсчитывайте выручку! Делайте вид, что вы действительно получаете товары.

— За цто? — со слезами в голосе бормочет грек, щелкая костяшками счетов. — Я зе ни в цем не виноват. За цто?

В лавку непрерывно входят агенты. Докладывают коротко, быстро.

— Ваше высокородь, Волохов сошелся с Канчером: сделали друг другу сигнал.

— Ваше высокородь, Генералов вытащил носовой платок, долго по сторонам смотрел, потом сморкнулся.

— Горкун перешел через Фонтанку. Стоит у дворца.

— Осипанов в трактире стакан сбитню выпил.

— Ваше высокородь, Андреюшкин два раза на церковь перекрестился. Шептал что-то.

— Ваше высокородь, Горкун Канчеру подмигнул.

— Горкун ушел, Канчер остался.

— Волохов опять к мосту идет.

— Ваше высокородь, Осипанов у Генералова время спрашивал. Переговорили о чем-то.

У ротмистра от напряжения разламывалась голова. По всем правилам сыска и охранной службы — надо брать. И немедленно. Но ведь это же Невский. Воскресенье. Сотни свидетелей. И если ничего серьезного не окажется, пойдут всякие письма, протесты...

Нет, уж пускай лучше пока сыскные просто «выпасывают» студентов. Тем более что и сам Дурново, директор департамента полиции, высказался за то, чтобы не трогать их вплоть до особого распоряжения. А то ведь Европа-то поносит Петербург за закрытие щедринского журнала. И свои либералы, мать их в перемать, изнутри раскачивают качели.

Без десяти одиннадцать.

Наследник престола цесаревич Нико́лай Александрович, одетый в теплый преображенский мундир, первым спускается в вестибюль Аничкова дворца. Еще никого нет. Даже папа, который выше всего в жизни ставит аккуратность и точность. Цесаревич доволен. Он первый. Таким образом, еще раз будет подчеркнута его, наследника престола, пунктуальность и уважение к правилам папа.

— Ваше высокородь, Генералов за пазуху руку сунул.

— Ваше высокородь, Андреюшкин в другой раз на храм божий перекрестился.

— Ваше высокородь, Горкун, Канчер и Волохов прямо в царские ворота влезли.

— Ваше высокородь, Осипанов-то у других время спрашивает, а у самого часы имеются. Только сейчас доставал их и смотрел, который час.

«Есть ли у них какая-нибудь прямая цель? — ломает голову ротмистр. — Зачем они эти кульки с собой носят? На пасху, что ли, собрались?»

Без пяти одиннадцать.

Почти одновременно сверху спускаются в вестибюль император и Мария Федоровна. Императрица взглядом дает понять Нике, что она довольна тем, что он опередил их. Это из арсенала хороших манер — быть на месте несколько раньше других. Минута в минуту приходят только солдафоны.

Александр Александрович, увидев на цесаревиче преображенский мундир, удовлетворенно кивает.

— Я рад, — торжественно говорит царь сыну, — что ты любишь этот полк. Он не раз добывал славу русскому оружию на полях сражений.

Почти вся царская семья в сборе. Нет только великого князя Георгия Александровича. Но это ни для кого не новость: Гога почти всегда опаздывает.

Часы в вестибюле бьют одиннадцать. Император хмурит брови. Сегодня, в день панихиды, Гога мог бы быть и поточнее.

И, словно уловив на расстоянии это недовольное движение отцовских бровей, по лестнице скатывается великий князь Георгий Александрович. На нем отлично сшитый юнкерский преображенский сюртук.

Император сияет. Сыновья сегодня порадовали его. Они подчеркнуто выразили свое уважение к его вкусам. Это несомненно будет отмечено чинами двора на панихиде.

Александр Александрович торжественно поворачивается к выходу. Сквозь широкие стеклянные двери видно, как во дворе выстраиваются живым коридором возле парадной лестницы гвардейские офицеры.

Итак, высочайший выход.

Но... что такое?

К императору, растерянно разводя на ходу руками, приближается унтер-шталмейстер. Выясняется, что заказанные накануне к одиннадцати часам четырехместные сани запаздывают.

Царь дергает плечом, поворачивается к жене и сыновьям.

Пять минут двенадцатого.

— Ваше высокородь, Генералов еще раз руку за пазуху сунул, и чегой-то у него там — щелк! Я как раз рядом шнурок завязывал.

— Ваше высокородь, Осипанов с тротуару сошел. По мостовой прохаживается.

— Ваше высокородь, Андреюшкин на своем предмете надрыв бумаги сделал.

«Может быть, они хотят, — думает ротмистр, — подать жалобу или прошение? На высочайшее имя? Остановить царский выезд и на глазах у публики всучить императору какую-нибудь петицию? О каких-нибудь там несправедливостях. И тут же об этом в газеты. Царю неудобно будет не ответить... Значит, хотят подать бумагу? Нет, судя по дерзким физиономиям, здесь дело не в бумаге».

Десять минут двенадцатого.

Александр Александрович, заложив руки за спину, подходит к шталмейстеру. В чем дело? Где выезд?

Старый дворцовый слуга дрожит как осиновый лист. Сбива-

ясь и путаясь, он говорит какие-то несвязные слова; их величество изволили приказать камердинеру подавать к одиннадцати, а кучеру ничего не пересказали, а камердин...

— Хватит, — обрывает шталмейстера царь и возвращается к семье.

Пятнадцать минут двенадцатого.

— Ваше высокородь, Канчер, Горкун и Волохов бегут от дворца на Невский!

— Ваше высокородь, Генералов и Андреюшкин открыто чего-то друг у друга спрашивают.

— Ваше высокородь, Осипанов им знаки подает. Рукой машет.

«С минуты на минуту, — думает жандарм, — из дворца должен выехать опаздывающий на панихиду царь. И тогда эти типы бросятся к нему со своим прошением. Но Дурново же сказал, что надо ждать... Ну и денек сегодня! Какое, кстати, число? Первое марта. Шесть лет назад народовольцы...»

Ротмистр вскакивает. Глаза его стекленеют. Он чувствует, что волосы на голове даже слегка шевельнулись...

— Варламов! Борисов! — в ужасе шепчет ротмистр, хватая за рукава вошедших в лавку агентов. — Брать! Немедленно! Всех! Но тихо, без шуму. И все наблюдение — ко мне!

В лавку входят сыскные. Жандарм уже овладел собой.

— Свергунов и Стаин берут Генералова и Андреюшкина. Тимофеев — Осипанова. Живо! Остальные помогают. Извозчиков сюда, городовых! Чтоб быстро все было!

— Ваше высокородь, а Канчера с Горкуном? Да еще Волохов с ними...

— Шелоиков! Свердзин! Шевылев!— командует ротмистр.— Отправляйтесь за этими троими! Да побыстрее!

Он поворачивается к хозяину лавки. Грек, как рыба, выброшенная на берег, судорожно открывает и закрывает рот.

— Чтоб никому ни слова! — показывает жандарм хозяину кулак. — А то... Ясно?

И быстро выходит на улицу.

...Борьба неравная. Двадцатилетние юнцы бессильны перед натренированными, натасканными на такие дела сыскными, перед огромными, медвежьего обличья городовыми. По два-три человека на одного. Ломают руки, щелкают наручниками, выхватывают свертки. А из переулков уже выкатываются возки и сани.

Заломив Генералову руки за спину, двое агентов падают вместе с ним в первые сани.

— В участок!

В следующий возок вталкивают растерянного, бледного Пахома. Волосы у него растрепаны. Под глазом синяк. Шапку сбили.

— В участок!

Осипанов успевает оказать сопротивление. Когда его хватает сзади за руку первый агент, он, не оборачиваясь, бьет его ногой, но в это время огромный, как слон, будочник налетает сбоку, обхватывает и так сжимает его, что Василий даже теряет на секунду сознание.

Канчера берут просто. Увидев полицейского, он бледнеет, оглядывается, сует руку в карман, но агент мгновенно выворачивает ему руку, и Канчер обмякает.

Горкун пытается бежать. Ему подставляют ногу. Поскользнувшись, он падает. Его бросают в сани, как неживого.

Сразу же после этого берут Волохова.

Ротмистр, наблюдавший всю операцию от начала до конца, удовлетворенно поглаживает усы. Уж что-что, а изымать с улицы нежелательных лиц в охранном умеют.

А на тротуаре уже роится толпа. Прохожие, забыв про весну и солнце, лихорадочно расспрашивают друг друга о случившемся.

— Господин, — обращается к ротмистру благообразный старичок, — вы не могли бы объяснить, кого это только что арестовали?

— Жулье, — равнодушно отвечает жандарм, — фальшивомонетчики.

Двадцать минут двенадцатого.

Красный от гнева царь, заложив руки за спину, ходит по вестибюлю. Мария Федоровна присела в придвинутое Никой кресло. Цесаревич стоит около мама и что-то вполголоса говорит ей. Великий князь Гога со скучающим видом разглядывает висящие на стенах картины.

Царская семья ждет. Ждет, как ждут обычные смертные опаздывающий поезд или экипаж.

Император подзывает прибежавшего в вестибюль товарища министра двора.

— Я не могу больше ни одной минуты опаздывать на панихиду по своему отцу. Немедленно сделайте что-нибудь!

Товарищ министра жмется, прикладывает руки к груди,

преданно смотрит на царя. Он ничего не может сделать. На конюшни посланы все бывшие под рукой люди. Но кучер почему-то опаздывает.

— Кучер? — сдвигает брови Александр Александрович. — Царь не ждет кучера!

Но кучер опаздывает.

Возки и сани, набитые сыскными и агентами, подмявшими под себя арестованных, увозят от Аничкова дворца полузадушенных террористов.

А царский кучер опаздывает.

Провидение, судьба, случай набирают нерадивого царского кучера орудием своих свершений.

Если бы кучер не опоздал...

Если бы четырехместные сани были поданы 1 марта 1887 года к подъезду Аничкова дворца вовремя...

Три динамитных снаряда, брошенных в царские сани с трех сторон, могли бы вписать в историю русского революционного движения новую страницу.

Только представьте себе...

В 1881 году убит Александр II.

Через шесть лет — Александр III.

Вместе с ним — императрица.

И еще — цесаревич.

И еще — второй великий князь.

Два царя убиты подряд.

Это не могло не произвести впечатления.

По всей вероятности, это было бы расшифровано следующим образом: революционеры дают понять — так было, так есть, так будет. Царей в России убивали. Убивают. И будут убивать до тех пор, пока правительство не пойдет на перемены, пока обществу не будут даны хотя бы элементарные свободы.

Письмо Пахома Андреюшкина студенту Никитину в Харьков лишает русскую революцию одной из ярких страниц.

Двадцать пять минут двенадцатого. К подъезду Аничкова дворца подлетают взмыленные лошади. Наконец-то выезд подан. Император, ни на кого не глядя, выходит во двор. Громкая отрывистая команда. Гвардейские офицеры, сбившие строй из-за долгого ожидания, снова образовывают живой коридор.

Александр Александрович, поддерживая императрицу под руку, помогает ей сесть в сани. Садится сам. Приглашает сыновей. Семья и провожающие понимают: настроение у государя испорчено на целый день.

Половина двенадцатого.

Проводив благополучно царский поезд, жандармский ротмистр направляется в участок, куда уже доставили арестованных. Едва он переступил порог, как все принимавшие участие в задержании сыскные встают.

— Ваше высокородь, ваше высокородь... — дрожащим голосом начинает дежурный пристав.

— Ну что там еще? — недовольно хмурится ротмистр.

— Так что при обыске динамитные бомбы найдены у студентов, — шепчет пристав.

Ротмистр бледнеет. Бросает быстрый взгляд на агентов. Даже сыскные, кого уже, казалось, нельзя удивить ничем, — даже сыскные не ожидали такого поворота дела.

— Где они? — спрашивает жандарм.

— Кто? — не понимает пристав.

— Студенты!

— Все сидят по разным камерам.

— А бомбы?

— Мы их, ваше высокородь, в чулан снесли и рогожкой накрыли...

— Рогожкой? — взрывается ротмистр. — Послать немедленно за специалистами! Перевести арестованных подальше от этого чулана!

Он благодарит всех сыскных, торопливо жмет им руки.

— Царь не оставит без милости, ребята. За царем служба не пропадет.

И только войдя в отдельную комнату, дрожащей рукой сдергивает с себя шапку и крестится — мелко и суетливо... Господи, благодарю тебя за вразумление, за то, что наставил раба своего на мысли истинные! Ведь если бы не вспомнилось о прошлом 1 марта, если бы не решился брать студентов... Господи, ведь и подумать страшно, что могло быть... Головы бы не сносить... Благодарю тебя, господи, за то, что отвел беду от их миропомазанного величества, а самое главное — от меня самого! Спаси Христос, что надоумил вовремя взять этого треклятого Пахома...

III

Петербург.

1 марта 1887 года.

Вечер.

Александр Ульянов идет на квартиру Михаила Канчера.

Он еще ничего не знает о событиях, произошедших между одиннадцатью и двенадцатью часами на Невском проспекте в районе Аничкова дворца.

Он должен был получить известие от боевой группы.

Но он не получил его.

Он ждал до вечера.

Терпение иссякало капля за каплей.

Когда стемнело, он — всегда такой сдержанный, осторожный — выходит на улицу.

Он не может больше находиться в неизвестности.

Он должен узнать все.

Убит царь или нет?

Александр Ульянов идет по улицам вечернего Петербурга.

Он еще не знает, что Канчер на первом же допросе сознался почти во всем.

А он идет как раз на квартиру Канчера.

Полицейская засада. Арест. Проверка документов. Установление личности в участке по месту проживания.

И вот уже подпрыгивают колеса кареты с решетчатыми окнами по брусчатке Литейного. Жандармские унтеры, сидящие по бокам арестованного, несколько озадачены его поведением. Лицо молодого человека с момента задержания и по сию минуту почти не менялось. Он как вошел в квартиру Канчера задумчивый, хмурый, с напряженно сосредоточенным взглядом темных глаз, так и остался таким.

Он словно бы и не удивился тому, что его арестовали. Будто ждал ареста. Спокойно дался полиции, спокойно сел в карету. Таких унтеры уважали. Другие начинают биться, кричать. А этот сидит смирно, думает.

Откинув голову на холодную, обитую клеенкой спинку сиденья, арестованный сидел с закрытыми глазами. Да, он предвидел свой арест. Он был готов к нему. Вот только бы узнать: удалось бросить бомбы в царя или нет? Но у кого узнать? У жандармов не спросишь.

Карета въехала на мост. Запах большой воды, мокрого льда, весеннего воздуха и вообще всего того, чем пахнет река в марте, — все это донеслось до него сквозь решетчатое окно.

И вспомнились Волга — река его детства и юности, и уютный деревянный городок на ее высоком зеленом берегу, и родительский дом, и сад, и младшие братья, и сестры, — и мама...

Воспоминания понесли его от этих холодных, мрачных, свинцовых невских берегов на Волгу, в голубое детство, в солнечную юность, в безмятежное отрочество... Реальная действительность: бомбы, динамит, царь, жандармы, чудовищная на-

пряженность последних перед покушением дней — все это постепенно отодвигалось от него дальше и дальше, пока не исчезло совсем.

Он заснул.

Жандармы переглянулись. Такого еще не было, чтобы арестованный засыпал в тюремной карете.

А он просто измучился, истерзался внутренне неизвестностью о делах, которым отдал всего себя, и неопределенностью своей дальнейшей судьбы. И поэтому, когда его арестовали, когда стало ясно, что в ближайшее время ему не нужно будет ничего делать самому: его будут водить, возить, спрашивать — все сдерживающие пружины его души расслабились, все тормоза отошли и подсознание мягко и тихо перенесло его в самое необходимое сейчас состояние — в сон.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Железная дверь камеры, лязгнув, захлопнулась за спиной. Поворот ключа. Шаги по коридору. Гулкие, стихающие. Звук еще одной, далекой двери. И все. Тишина.

Взгляд, скользнув по столу и кровати, остановился на окне. Толстые железные прутья, двойная решетка. Вросла в камень навечно.

Он сделал несколько шагов, дотронулся ладонью до стены. Холодная толщина ее, казалось, не имела предела. В ноги и плечи хлынула безнадежная, тягостная усталость.

Он поднял глаза. Закопченный сводчатый потолок, повторяя форму верхней части окна, мрачно нависал над головой, как крышка сундука.

Глаза постепенно привыкали к полумраку. Железная доска стола, вделанная в стену. Намертво привинченная к полу железная кровать. Между ними — узкое сиденье, такое же железное и вделанное в стену, как и стол.

Пощупав рукой сиденье и убедившись в его прочности, он сел. Каменный пол, неровный, выщербленный, усилил ощущение безысходности.

Камень. Кругом камень. Слева, справа, спереди, сзади, снизу, сверху. Холодный. Мертвый. Безразличный ко всему на свете.

Он резко поднялся. Но что же все-таки произошло? Что случилось? Причина? И что с остальными? Вышло ли дело?

Он подошел к окну, разъял взглядом решетку, вышел мысленно за ворота крепости. Минута перед арестом возникла отчетливо и ярко.

Все было правильно. Он подошел к дому. Незаметно проверил — нет ли хвоста? Только после этого вошел в подъезд. Позвонил. Дверь открыла хозяйка квартиры. На губах — непривычная, заискивающая улыбка. Глаза — остановившиеся, полные молчаливого ужаса.

Он хотел было повернуться и уйти, но вдруг увидел в щель между стеной и косяком двери военную шинель...

Длинный ряд начищенных пуговиц. Рыжие усы. И глаз. Один напряженно блестевший косящий глаз. Следивший за ним. Человек охотился на человека.

Бежать?..

А если догонят? Тогда пропало сразу все. Почему бежал? Чего испугался? Значит, виноват? В чем?

Он шагнул через порог. За его спиной полицейский быстро захлопнул дверь.

Вдалеке с характерным лязгающим звуком открылась и затворилась дверь. Шаги в коридоре. Медленные. Приближаются. Остановились. Поворот ключа.

Свет, гоня перед собой темноту, пополз по стене от дверей к окну и вошел в камеру в образе надзирателя с керосиновой лампой в руке. Стены, выйдя из мрака, придвинулись друг к другу. Сводчатый потолок выгнулся и опустился.

Надзиратель, с любопытством взглянув на арестованного, поставил лампу на стол и молча вышел. Снова поворот ключа. Стихающие шаги. Двойной звук далекой двери. Тишина.

Он посмотрел на принесенную лампу. Она вся вместе со стеклом была забрана в мелкую металлическую сетку. Внизу сетка крепилась к железной подкове, надетой на основание корпуса лампы. Концы подковы в виде колец соединялись маленьким висячим замком.

Струйки копоти, выбираясь на свободу через мелкие ячейки металлической сетки, кудряво завивались к потолку. Угрюмый низкий свод давил на светлячок пламени своей каменной тяжестью, и казалось, что светлячок страдает, мучается от этой тяжести, колеблется, вздрагивает, мечется то в одну, то в другую сторону.

«Что-то напоминает эта коптящая лампа, — подумал он. — Что-то связанное с церковью. Похороны, отпеванье...»

Кадило. Правильно — кадило. Когда во время службы из него кудрявится сероватый дымок.

II

Он вспомнил отца. Илья Николаевич умер в прошлом году. Отец не пережил бы его ареста. Это был бы крах всей его жизни, всей службы...

Отец. Строгое, сосредоточенное лицо, высокий лоб, плотно сжатые губы... От отца впервые были услышаны имена Добролюбова, Чернышевского, Писарева, отец выписывал все передовые журналы, читал детям стихи Рылеева и Некрасова. Неужели отец не понял бы тех причин, по которым он, Саша, оказался здесь, в камере Петропавловской крепости?

Понял бы, понял! Одно дело — служба, мундир чиновника Министерства просвещения, а другое — судьба самого Ильи Николаевича, вышедшего из народных низов, выросшего на революционных демократических идеях передовых людей России. Нет, не случайно давал отец читать лучшие книги русских писателей и ему, Саше, и Ане, и Володе. Отец сознательно воспитывал в них, в детях, общественное начало, развивал гражданский образ мыслей и чувств.

А мама? Разве смог бы он, Александр Ульянов, в свои семнадцать лет, когда он приехал в Петербург из провинциального Симбирска и поступил в университет, разве смог бы он так сразу войти в лучшие студенческие кружки, так коротко сблизиться со многими образованнейшими людьми столицы, если бы не мама — добрый гений всей их семьи, светлый ангел его, Сашиного, счастливого детства? Именно маме, ее влиянию на становление его характера, ее возвышенной и чистой душе обязан он, Саша, своим ранним общественным созреванием. Всю себя ежедневно и ежечасно отдавала мама воспитанию детей. Всю свою жизнь она подчинила образованию и глубокому развитию каждого из них. Мама, пожалуй, сделала все предельно возможное, что можно было только сделать в Симбирске, чтобы дети с ранних лет приобрели высокие и светлые взгляды на назначение человека в обществе, устойчивые и твердые гражданские убеждения.

Перед Сашей возник их дом в Симбирске... Ярко освещены окна. Вся семья в сборе. Все заняты делом: отец работает в кабинете, мама и младшие сестры сидят в столовой за рукодельем, он, Саша, занимается в своей комнате, Володя — в своей, Аня — тоже в своей... Весь дом похож на библиотеку, на большой читальный зал или скорее на школу: никто не бездельничает, все заняты делом, никто не нарушает раз и навсегда заведенной строгой дисциплины и порядка.

Родительский дом двигался через память медленно, подробно — каждой комнатой, коридорами, лестницами... Саша видел

гостиную — любимую комнату мамы, длинный темный рояль, нотные папки на крышке рояля с голубыми и розовыми шнурками, большое зеркало между окнами, цветы по обеим сторонам зеркала, удобный мягкий диван в углу около входа, на котором обычно усаживалась вся детвора, когда мама играла на рояле... Все сидят неподвижно, тихо, затаив дыхание, чудесная, плавная, почти волшебная музыка заполняет всю комнату, и кажется, что бородатые маленькие гномы в полосатых колпаках и белых вязаных чулках осторожно и лукаво заглядывают в гостиную из коридора, из папиного кабинета...

А в кабинете у папы — холод черной кожи на креслах, золотые корешки энциклопедического словаря за стеклянными дверцами шкафа, шахматные учебники и справочники, ровные шеренги журналов — «Вестник Европы», «Дело», «Русское слово». Отдельно стоят сочинения Толстого, Гоголя, стихи Некрасова, Лермонтова. На письменном столе — ровная стопка отчетов о деятельности народных школ губернии, аккуратно переписанных рукой самого Ильи Николаевича...

Собственно говоря, кто был отец? Каких общественных взглядов придерживался он?

Отец был человек шестидесятых годов, вся его жизнь прошла под знаком служения передовым идеям шестидесятых годов — идеям освобождения России от крепостнического рабства, идеям Добролюбова и Писарева, Чернышевского и Белинского.

Но революционером Илья Николаевич, конечно, не был. Революционного народнического мировоззрения он не разделял. Больше того, высокое положение в губернской чиновнической иерархии заставляло его часто сдерживать свои настроения.

Отец был против террора. Он осуждал террор. Шесть лет назад, в восемьдесят первом году, когда в Симбирске узнали об убийстве Александра II, Илья Николаевич вернулся с панихиды по «убиенному злодеями» императору необычно взволнованный и расстроенный. Да ведь это было и понятно. Лучшие годы его жизни прошли при Александре II, царствование которого было светлой полосой для отца...

Все царствование или только начало его?

Саша посмотрел на чадившую лампу, на расплывшуюся бесформенную тень решетки на лампе на одной, дальней, стене и на четкую и даже резкую на другой, ближней... Вот в чем дело. Отец не понял различия между началом правления царя-освободителя, когда с именем Александра II связывались все надежды на крестьянскую реформу, на лучшее будущее страны, и последующими годами этого царствования, когда всем стало ясно, что реформа проведена крепостниками, принявши-

ми новое обличье, и в интересах крепостников, когда все поняли, что стали жертвами чудовищного обмана, что никакого лучшего будущего не наступит, что надежды получить освобождение от гнета помещиков из рук первого помещика России — пустая детская нереальная, несбыточная иллюзия.

Вот тогда-то и возникла идея цареубийства. Вот тогда-то и стала сама личность царя символом гигантского, общенационального обмана. И выстрел Каракозова — кстати, ученика Ильи Николаевича по Пензенскому дворянскому институту — прозвучал первой реакцией обманутой России...

Понимал ли отец это различие между началом и концом царствования Александра II? Наверное, нет... А если и понимал, то, обремененный большой семьей, не мог позволить себе выражать это понимание внешне, так как на первом месте были заботы о семье и невеселые думы о своем совсем не блестящем здоровье.

Вполне вероятно, что в конце своей жизни отец вплотную подошел к осознанию этого различия. Реакция, наступившая после убийства Александра II, для отца выражалась прежде всего в том, что созданные им народные школы начали постепенно закрываться. Отцу отказали в ходатайстве об оставлении на службе по истечении необходимого срока выслуги лет. Этот отказ и был свидетельством наступления реакции на его непосредственное детище — народные училища. Деятели типа Ульянова, потребность в которых была так велика в начале шестидесятых годов, теперь, в восьмидесятые годы, перестали быть нужны. На ниве просвещения стали необходимы не просветители, а мракобесы и ретрограды. Крепостники, ушедшие в подполье, затаившиеся до времени, не имевшие активной поддержки общества, все еще жившего иллюзиями шестидесятых годов, в восьмидесятые годы, когда эти иллюзии рассыпались в прах, выступили открыто и смело.

Да, реформа шестьдесят первого года была проведена хитро. Формально страна освободилась от крепостничества, но наследием нескольких веков феодального рабства был по-прежнему поражен весь внутренний организм России, заглушая повсеместно по мере возможностей новые веяния, тормозя движение государства вперед. Нужно было очень сильное общественное движение, которое обратило бы внимание на это противоречие. Нужна была организация людей, которая своими действиями напомнила бы о нерешенности всех коренных вопросов русской жизни.

Таким движением стало народничество, такой организацией — «Народная воля». Такими действиями стали террорис-

тические акты — убийства царя и его наиболее преданных сатрапов.

Организация, уничтожившая Александра II, была разгромлена. Реакция после этого события сделалась еще сильнее. Были взяты назад все демократические уступки обществу... Следовательно, террор не нужен? Убитых тиранов заменяют новые, еще более жестокие и озлобленные; лучших людей, революционеров, арестовывают и казнят, а общественное устройство страны остается неизменным...

Итак, террор бесполезен?

Нет, террор необходим!

Нужно непрерывно напоминать правительству, что искры протеста и революции не затухают, что в передовом обществе постоянно живет готовность к взрыву, к активному выступлению...

И вот они выступили — он, Александр Ульянов, и его товарищи по организации. Они решили повторить то, что сделали в свое время Желябов, Перовская, Гриневицкий, Кибальчич...

Повторить, только повторить...

Они выступили, и вот теперь он, Александр Ульянов — студент Петербургского университета, сын действительного статского советника — находится за решеткой Петропавловской крепости.

Он снова посмотрел на чадившую лампу и вдруг почувствовал, как по щеке сбежала и остановилась на губах неожиданная слеза.

Сдерживая с трудом внезапно возникшую резь в глазах, он удивленно дотронулся кончиком языка до соленой капли воды на губе, вытер ее пальцем, но в ту же секунду еще одна слеза, а потом еще, и еще, и еще, и еще покатились по его щекам, и он уже больше не останавливал их кончиком языка и не вытирал пальцем руки. Вместе с внезапно нахлынувшими слезами в его мысли пришло отчетливое, как маленькая решетчатая тень на ближней к лампе стене, осознание своего положения, и он ясно и точно понял: его прежняя жизнь — университет, лекции, занятия в лаборатории, опыты, товарищи-однокурсники, профессора, и летние поездки домой на Волгу, и младшие братья и сестры, и мама, и няня Варвара Григорьевна, и товарищи по гимназии, съезжавшиеся каждый год на каникулы к родителям, — все это кончилось теперь для него навсегда, все это было позади, в прошлом, а впереди лежала новая полоса жизни: может быть, очень короткая, и в конце ее — физическое исчезновение, а может быть, бесконечно долгая, мучительная, беспросветная, и ему надо было теперь быть одина-

ково готовым и к одному и к другому варианту этой своей новой жизни.

III

— Фамилия?
— Ульянов.
— Имя?
— Александр.
— Отчество?
— Ильич.
— Лет от роду?
— Двадцать.
— Точнее.
— Двадцать лет и одиииадцать месяцев.
— Вероисповедаиие?
— Православное.
— Народность?
— Русский.
— Происхождение?
— Сын действительиого статского советника.
— Ай-яй-яй, господин Ульяиов! Папенька ваш, можио сказать, геиерал, хотя и штатский, а вы? Нехорошо-с!
— Потрудитесь, господни ротмистр, задавать вопросы по существу дела.
— Нехорошо-с, иехорошо-с. Ну что ж, пойдем дальше. Ваше звание?
— Дворянин.
— Потомственный?
— Дворянское звание было пожаловано моему отцу за заслуги по Министерству иародиого просвещеиия.
— Место рождеиия?
— Нижиий Новгород.
— Время рождения?
— 31 марта 1866 года.
— Адрес?
— Где?
— В Петербурге.
— Алексаидровский проспект, в доме № 21, вторая квартира.
— Ваши заиятия?
— Слушал лекции в университете.
— Точиее.

— Студент четвертого курса Петербургского университета.
— Факультет?
— Естественный.
— Какими располагаете средствами к жизни?
— Средства к жизни получаю от матери.
— Кто мать? Имущественный ценз.
— Домовладелица.
— Доход от дома?
— Не знаю.
— Ваше семейное положение?
— Холост.
— Имеете братьев, сестер?
— Имею братьев Владимира и Дмитрия, сестер...
— Их занятия?
— Чьи занятия?
— Братьев.
— Владимир — учащийся восьмого класса Симбирской классической гимназии...
— Какого класса?
— Восьмого.
— Выпускного?
— Да.
— А вам известно, господин Ульянов, что совершенное вами преступление...
— Я не совершал никакого преступления.
— ...что совершенное вами преступление может повлиять на судьбу вашего брата?
— В каком смысле?
— В том смысле, что ваш брат может и не окончить Симбирской классической гимназии.
— Сомневаюсь.
— Напрасно. Высочайшее повеление о применении строжайших санкций к родственникам всех участников вашего дела уже заготовлено.
— Во-первых, не пытайтесь запугать меня...
— А во-вторых?..
— Во-вторых, я не понимаю, о каком деле и о каких участниках вы изволите говорить.
— Ульянов, это наивно. Вы же умный человек.
— Обсуждение моих личных качеств не входит в ваши полномочия, господин ротмистр.
— Мои полномочия, смею вас заверить, достаточно широки. Поэтому напоминаю: правдивость ваших показаний и дальней-

шее обучение вашего брата в гимназии находятся в прямой зависимости друг от друга.

— Я приму это к сведению.

— Вот и прекрасно. Идем дальше. Ваш второй брат, его имя?

— Дмитрий.

— Кто он?

— Ученик четвертого класса Симбирской классической гимназии.

— Учтите: его пребывание в гимназии тоже зависит от искренности и чистосердечности ваших признаний.

— Учту.

— Ваши сестры?

— Анна, слушательница Высших женских курсов в Петербурге, Ольга...

— Вы знаете, что ваша старшая сестра тоже арестована?

— Аня? За что?

— За то же самое, за что арестованы и вы.

— Она ни в чем не виновата. Немедленно освободите ее!

— Напоминаю: судьба Анны Ильиничны тоже зависит от искренности и чистосердечности ваших признаний.

— Вы не имеете права держать под стражей ни в чем не повинного человека!

— Продолжаем, господин Ульянов. Сколько еще сестер имеете вы?

— Двух.

— Их имена?

— Ольга и Мария.

— Занятия?

— Живут с матерью. Ольга учится в гимназии.

— Прекрасно. Последние формальности. В каких учебных заведениях вы изволили обучаться?

— До поступления в университет обучался в Симбирской классической гимназии.

— Окончили курс?

— В 1883 году.

— За границей бывали?

— Нет, не бывал.

— На чей счет обучались в гимназии?

— На счет родителей.

— К дознанию ранее привлекались?

— Не привлекался.

— Господин Ульянов, на основании закона Российской Империи от девятнадцатого мая 1871 года я, отдельного корпуса жандармов ротмистр Лютов, в присутствии товарища прокуро-

ра петербургской судебной палаты Котляревского, а также понятых Иванова и Хмелинского — письмоводителей канцелярии для производства дел о преступлениях государственных, допросил вас сего марта третьего дня 1887 года в соответствии с предоставленными мне полномочиями и правами, о чем и составлен настоящий протокол. Прежде чем дознание продолжит товарищ прокурора, прошу вас внимательно прочитать протокол допроса и на каждой странице внизу написать: «С моих слов записано верно. Ульянов».

IV

— Ну-с, продолжим дознание, — ротмистр Лютов кивнул головой товарищу прокурора. — Господин Котляревский, прошу задавать вопросы.

— Известно ли вам, господин Ульянов, — начал товарищ прокурора, слегка наклонив набок голову, и это еще больше сделало его похожим на птицу, — что мы полностью располагаем сведениями о вашем участии в подготовке покушения на жизнь государя императора?

Котляревский положил на стол перед собой очень чистые, тщательно вымытые руки с длинными, аккуратно отполированными ногтями и медленно сжал пальцы в кулаки.

— Я повторяю свой вопрос, — сказал он ровным, спокойным голосом. — Известно ли господину Ульянову, что мы располагаем...

— Мне ничего не известно, господин товарищ прокурора, — перебил его Саша.

— А Канчер?

— Что Канчер?

— Вам знакома такая фамилия?

— Смешной вопрос: меня арестовали на квартире Канчера.

— Зачем вы пришли к нему?

— Он мой товарищ по университету.

— А вот сам Канчер сообщил нам, что он больше не считает вас своим товарищем. Он весьма сожалеет о своем знакомстве с вами... И Горкун тоже. Вот, не угодно ли ознакомиться?

Котляревский придвинул бумаги к краю стола. Саша, не дотрагиваясь до них, прочитал несколько фраз, и внутри стало пусто и холодно: да, это писал Канчер. Такие детали мог знать только он. Значит, Канчер выдает. Но при каких обстоятельствах арестовали самого Канчера? Брошены ли бомбы в царскую

карету? Сейчас он заставит этого самовлюбленного прокурора сказать то, чего он говорить не должен.

Саша поднял голову, в упор посмотрел на Котляревского. Спросил четко, отрывисто:

— Царь жив?

Лютов и Котляревский поднялись почти одновременно. Сзади с шумом встали понятые.

— Благодаря мудрости господней и провидению монаршей судьбы, — постным голосом начал Котляревский, — драгоценная жизнь государя императора Александра Александровича в полной безопасности. Благодаря тебе, господи!

Прокурор и жандарм истово закрестились. Понятые клали после каждого знамения поясной поклон.

Значит, покушение не удалось. Организация раскрыта. Но кто арестован еще?

«Любыми средствами надо сделать так, чтобы меня отправили обратно в камеру, — лихорадочно думал Саша. — Если организация раскрыта, надо выработать линию поведения. Мне надо твердо знать степень их осведомленности. Мне нужно подготовить свою систему ответов, чтобы не только отвечать, но одновременно и узнавать. А на это требуется время. Хотя бы одна ночь...»

— У нас есть возможности, Ульянов, оживить вашу память.

— Какие же?

— Вам знакомо такое слово — «дыба»?

— Знакомо.

— Хотите познакомиться с ним поближе?

— Пока нет.

— А если вам начнут выдергивать ногти?

— Стыдитесь, господин прокурор.

— Ломать суставы?

— Примитивно.

— Выкалывать глаза?

— Что еще?

— Резать ремни со спины?

— Все?

— Нет, не все. Вас обдерут кнутом, как липу. Вас будут кормить селедкой и не будут давать воды. Вас будут, черт возьми, двадцать четыре часа в сутки пытать самые изощренные палачи!

— Слабая фантазия, господин прокурор.

— Они развязывали языки и не таким, как вы!

— Вполне возможно.

— Вас четвертуют! Вас изрубят на плахе, как капусту!

— Не исключено.
— Кто делал бомбы?
— Не знаю.
— Где взяли взрывчатку?
— Не знаю.
— Кто руководил организацией?
— Не знаю.
— Сколько было метальщиков?
— Не знаю.
— Где Шевырев?
— Не знаю.
— Куда скрылся Говорухин?
— Не знаю.
— Когда возник заговор?
— Не знаю.

Котляревский закрыл глаза. Открыл. Вынул платок. Вытер лоб.

— Вы будете, наконец отвечать, Ульянов?

Саша покачал головой.

— В таком случае, как прикажете объяснить в протоколе ваше нежелание отвечать?

Саша устало пожал плечами.

— Потрудитесь сами сформулировать причину своего отказа. Вот перо и бумага.

Подумав немного, Саша взял перо и написал: «На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь государя императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня».

Арестованного увели.

— Ну, фрукт, доложу я вам! — расстегнул верхнюю пуговицу сюртука Котляревский.

Ротмистр сделал знак Иванову и Хмелинскому. Писари заученно встали, вышли в коридор.

— Лично я, — потрогал себя за усы Лютов, — доволен сегодняшним днем. Если вся эта компания хотя бы отдаленно напоминает желябовскую «Народную волю» и если у них тоже есть свой Исполнительный комитет, то Ульянов непременно член этого комитета.

— Вполне может быть, — согласился Котляревский.

— Нет, вы только вспомните, как он держался все эти четыре часа! Из него же так и прет воля, ум, выдержка. А ему только двадцать лет! Нет, с такими качествами он, естественно, не мог быть на второстепенных ролях. Он один из членов руко-

водящего ядра. Непременно! Перед нами нить в самое сердце заговора. Повторяю: я весьма доволен сегодняшним днем. Весьма!

V

Сразу же после уроков Володя пошел в женское училище к Вере Васильевне Кашкадамовой: на перемене в гимназию приходил от нее посыльный и сказал, что Вера Васильевна просит прийти как можно скорее.

Увидев Володю, Вера Васильевна опустила глаза, но тут же снова подняла их и посмотрела на Володю печально и строго.

— Садись, — тихо сказала она.

Володя сел на край стула, поставил около ног ранец.

— У вас в семье случилось огромное несчастье, Володя.

Он быстро поднялся.

— Нет, нет... Катенька Песковская написала мне из Петербурга... Вот прочитай. Саша и Аня замешаны в покушении на царя.

— На царя?

Он машинально сел. Снова встал. Уронил ранец.

Вера Васильевна молча протягивала письмо. Он взял его отрешенным жестом.

— Кто такая Песковская?

— Это же твоя кузина, Екатерина Ивановна Веретенникова. Разве ты забыл?

— Ах да...

Строчки разъезжались перед глазами. Буквы прыгали. Смысл написанного доходил с трудом... «Замешаны в заговоре против жизни государя... Саша и Аня... (И Аня?!) Нужно осторожно предупредить Марию Александровну, чтобы с ней не случился удар. Ведь годовщина смерти Ильи Николаевича была совсем недавно...»

Володя опустил письмо. Руки его изредка вздрагивали.

— Когда вы получили письмо?

— Сегодня, Володя, сегодня.

— Мама не знает?

— Конечно. Я сразу послала за тобой. Ты мужчина. Надо найти какие-то первые слова для Марии Александровны. Я очень боюсь за ее сердце. Эта недавняя годовщина Ильи Николаевича. Ведь она так тяжело перенесла ее... Это ужасно. Одно за другим...

Войдя в дом, он остановился в прихожей и долго не мог

сделать первого шага вверх по ступенькам лестницы в комнату мамы.

— Володя, это ты пришел? — раздался сверху ее голос.

Он молча стоял перед лестницей.

Ступеньки заскрипели, Мария Александровна спускалась вниз.

— Почему ты не отвечаешь, Володя?

Он поднял голову и посмотрел на нее растерянно и беспомощно.

— Что случилось, Володя? Что-нибудь в гимназии? Ну-ка иди сюда, к свету.

Мария Александровна вошла в столовую. Он шагнул за ней через порог.

Мария Александровна обернулась. Второй ее сын — коренастый, лобастенький, с золотистым пушком на подбородке — стоял перед ней непривычно понурый, вялый.

— Что произошло?

Он жалобно заискрился блестящими точечками в карих зрачках, поджал задрожавшие губы, заговорил невнятно, отрывисто:

— Мамочка, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой! Мы все будем рядом с тобой! Я скоро окончу курс, и ты никогда ни о чем не будешь беспокоиться...

Она быстро взяла его руку. Сжала в запястье.

— Говори немедленно: что случилось? С кем? С Аней? Сашей?

Он горестно кивнул.

— Когда? Кто сообщил? Откуда ты узнал?

— Мамочка, только не волнуйся. Еще ничего не известно. Все может измениться. Я очень тебя прошу: только не волнуйся.

— Володя, не мучай меня. Не причиняй мне лишних страданий.

— Мамочка, дорогая, соберись с силами...

— Говори же, Володя, говори!

— Саша и Аня были в кружке. Их арестовали.

Мария Александровна искала рукой край стола. Нашла. Оперлась. Медленно опустилась на стул.

— Кто сказал тебе?

— Вера Васильевна получила письмо от Кати Веретенниковой.

Он взглянул на мать. Мария Александровна смотрела куда-то мимо него, в пространство. Лицо ее хмурилось — было похоже, что она прислушивается к чему-то.

— Что еще было в письме? Ты принес его?

В ее голосе, всегда спокойном и ровном, вдруг послышалась неожиданная интонация — неуверенная, просящая.

— Нет, оно осталось у Веры Васильевны.

— Я пойду к ней...

— Мамочка, прошу тебя. Я схожу сам.

— Нет, нет...

Он вдруг увидел, что лицо матери стало неестественно быстро бледнеть.

— Мама, что с тобой? Сердце?

— Принеси мои капли...

— Где они?

— Наверху, на комоде.

Когда он спустился, Мария Александровна сидела прямая, строгая. Лицо ее уже не было так бледно и бескровно. Только чуть заострились плечи. И глаза стали другие — глубокие, с траурными полукружьями внизу.

— Я знаю, что с ними, — сказала она прежним, твердым голосом. — В газетах было сообщение: на Невском арестовали студентов с бомбами. Они ждали экипаж царя. Это они.

Она встала. Володя протянул капли. Мария Александровна покачала головой.

— Нет, нет, я абсолютно здорова. Я должна быть здорова. Я должна ехать спасать их.

Володя смотрел на мать удивленно и испуганно.

— Саша хотел убить царя, — тихо заговорила Мария Александровна, — он мужчина. Но Аня? Боже мой, неужели она, женщина, оказалась способна на это? Ведь она же больна. Она не выдержит тюрьмы.

Она прижала руки к лицу. Резко опустила их, не разъединяя. Чуть запрокинула назад голову.

— Бог мой, почему ты так часто караешь меня? Почему ты отнял мужа и теперь отнимаешь детей?

Она обернулась к Володе.

— Почему они не подумали о нас, когда пошли на это? Обо мне и о вас? Ведь вас четверо. А кроме пенсии и дома, у нас ничего нет. Ничего.

Володя с трудом сдерживал слезы. Впервые он видел маму в таком состоянии. Даже на папиных похоронах в прошлом году она не была такой. Тогда горе было одно. Теперь несчастье удвоилось. И даже утроилось. Одно за другим.

— Мой бог, прости меня за эти слова. Я не должна была говорить их. Я должна ехать спасать своих детей. Помоги мне. И прости меня.

VI

Семь шагов от окна до дверей. Семь шагов от дверей до окна.

Семь шагов.

От окна до дверей.

Семь шагов.

От дверей до окна.

Итак?..

Что известно? Прежде всего — царь жив. Значит, главная цель, ради которой были предприняты все усилия, не достигнута.

Второе. Боевая группа (и сигнальщики и метальщики) арестована полностью. Динамитные снаряды отобраны. Следовательно, повторить покушение невозможно.

Если смотреть правде в глаза — это разгром. Полный. Организация уничтожена. Восстановить снаряды нельзя. Нет взрывчатых материалов. И некому их приготовить.

Канчер выдает. Да, это была ошибка — привлечь к делу Канчера. Прав был Андреюшкин: по своим волевым и психологическим данным ни Горкун, ни Канчер были не способны принять участие в покушении на царя.

Что знает Канчер? Вильна. Азотная кислота. Я сам встречал Канчера на вокзале, когда он привез из Вильны чемодан с азотной кислотой. Значит, можно предположить, что адреса в Вильне Канчер уже назвал.

Дальше. Канчер знает, что я снаряжал бомбы. Он знает также, что я печатал программу террористической фракции. Он был на последнем собрании боевой группы, устроенном по моей инициативе. Все это, очевидно, уже есть в письменных показаниях Канчера.

Какие фамилии знал Канчер? Он уже подтвердил состав сигнальщиков — сам Канчер, Горкун, Волохов. И метальщиков — Осипанов, Андреюшкин, Генералов. Наверняка выдал всех виленских товарищей. Назовет (если уже не назвал) Шевырева, Лукашевича, Говорухина. Впрочем, он их уже назвал — ведь Котляревский спрашивал вчера на допросе о Шевыреве и Говорухине.

Если товарищ прокурора так уверенно оперирует фамилиями участников и главными обстоятельствами дела, значит, показания Канчера совпадают с показаниями других арестованных. Значит, они, эти показания, стали для следствия уже документальной основой.

Но кто же еще может выдавать? Метальщики исключены. Ни Генералов, ни Андреюшкин не скажут ни слова. В них можно быть уверенным до конца. Осипанов — тем более. Это железный человек.

Остаются сигнальщики. Горкун и Волохов. Кто же из них? Пожалуй, Горкун. По своей легковесности и податливости он тяготеет к типу людей вроде Канчера. Кстати сказать, в показаниях Канчера (он отметил это сразу, как только Котляревский придвинул к нему протоколы допросов) есть такие детали, которые совпадают с показаниями Горкуна. Следовательно, для Котляревского эти показания уже стали истиной, составом преступления. Он, Ульянов, может сколько угодно молчать, запираться, отказываться — это ничего не изменит. Если показания двух подследственных по одному с ним делу совпадают, то он, Ульянов, считается уже уличенным. На основании этих совпадающих показаний ему будет предъявлено обвинение, его будут судить и вынесут приговор.

Следовательно, дальнейшее молчание на допросе — нелогично, бессмысленно. Его личная вина в замысле на жизнь царя установлена не только фактически, но и определена юридически. Но степень этой вины? Она будет зависеть только от его личных признаний. Вывод: от того, в чем он признается, будет зависеть и мера наказания, и приговор. Значит, не все еще потеряно. Борьбу можно и нужно продолжать!

Значит, есть две задачи на время следствия и суда. Первая: политически обосновать замысел покушения. Дать понять всем, что они были не просто кучкой террористов, а серьезной политической организацией.

И вторая: по возможности умалить вину товарищей. Выгородить тех, кто выбрал эту дорогу не самостоятельно. Или принимал лишь косвенное участие в деле. Надо любыми средствами узнать во время допросов, кто арестован еще. И спасти их.

Все на себя. Предельно облегчить участь товарищей. Защитить идеалы фракции. Еще выше поднять те цели, с которыми они вышли на борьбу, и в конце суда — слово. На всю Россию! Чтобы поколения революционеров, которые придут после них, знали: ни на одну секунду, ни на один час, ни на один день они не давали погаснуть искрам протеста, искрам борьбы, искрам революции...

VII

— Ну-с, Александр Ильич, здравствуйте, здравствуйте. Как самочувствие? Что-то вы, батенька мой, неважнецки сегодня смотритесь, а?

Ротмистр Лютов — добродушный, респектабельный — смотрел на введенного в комнату арестованного с отеческой снисходительностью.

— Может быть, все еще нездоровится? Доктор нужен? Медикаменты?

— Благодарю. Сегодня я здоров.

— А спалось-то как? В снотворном не нуждаетесь? Я могу велеть.

— Спалось хорошо.

Лютов простодушно взглянул на Котляревского.

— А то мы вот с прокурором угрызаемся, чувствуем себя виноватыми. В предыдущую встречу с нашей стороны, конечно, была допущена некоторая резкость. Я искренне сожалею.

Котляревский склонил набок голову, улыбнулся («Как облизнулся», — подумал Саша), сказал на предельной ноте доброжелательности:

— Присоединяюсь целиком и полностью.

— В прошлый раз, — разбирал Лютов страницы протокола, — по состоянию здоровья вы просили отложить вопросы, которые мы к вам имели, до следующего дня. Я правильно излагаю?

— Правильно, — Саша кивнул.

— Мы пошли вам навстречу. Как только что выяснилось, сегодня ваше самочувствие значительно улучшилось. Хорошо спали, в медицинской помощи не нуждаетесь. Другими словами, никаких возражений против продолжения допроса у вас не имеется. Не так ли?

— Я готов дать показания, — твердо сказал Саша.

— Одну минуту, — быстро поднялся со стула Котляревский.

Он вышел из комнаты и тут же вошел обратно с уже знакомыми писарями. Иванов и Хмелинский устроились в углу за специальным столиком, приготовили перья, бумагу.

Прокурор вернулся на свое место.

— Начинайте, — кивнул Саше ротмистр.

Саша выпрямился, внимательно посмотрел на Лютова, потом на Котляревского, сказал громко и почти торжественно, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Я признаю свою виновность в том, что, принадлежа к террористической фракции партии «Народная воля», принимал участие в замысле лишить жизни государя императора.

— Ну, что же мы замолчали, Александр Ильич! — Лютов смотрел на Сашу с искренним огорчением. — Так хорошо начали и вдруг замолчали, а?

Ротмистр обернулся к Котляревскому.

— Господин прокурор, у вас есть вопросы к господину Ульянову?

— Безусловно, — Котляревский двинулся вперед, опустил голову и вдруг посмотрел на Сашу своими светлыми навыкате глазами как-то очень просяще, снизу вверх. — Скажите, Ульянов, а в чем же конкретно выражалось ваше участие в замысле на жизнь государя императора?

— Мое участие в замысле на жизнь государя императора выразилось в следующем: в феврале этого года я приготовил некоторые части разрывных метательных снарядов, предназначавшихся для покушения...

— В феврале этого года? — вмешался Лютов.

— Да, в феврале.

— Не припоминаете точно, какого числа?

— Не припоминаю.

— Каким пользовались методом? Студень гремучей ртути, пироксилин, бертолетовка, сурьма, нитроглицерин?

— Нет, у меня свой метод.

— Какой же, позвольте полюбопытствовать?

— Азотная кислота и белый динамит.

— И много кладете белого динамиту?

— Секрет, господин ротмистр.

— С белым динамитом надо осторожнее, — озабоченно погладил усы Лютов. — Может сработать и до совершения акции.

— Мы несколько отвлеклись, — вступил в разговор Котляревский. — Вы, кажется, были намерены продолжать свои показания.

— Да, я хочу продолжить показания.

— Прошу вас.

— Кроме работы со взрывчаткой, я принимал участие в приготовлении свинцовых пуль, которыми были начинены снаряды. Я резал свинец и сгибал из него пули. Потом мне доставили два жестяных цилиндра...

— А стрихнинчик? — снова вмешался Лютов.

— Что стрихнинчик?

— Стрихнином пули вы набивали?

— Нет, к этому я отношения не имел.

— В свое время террористические группы широко стрихнин использовали.

— Я могу продолжать показания? — на этот раз уже Саша перебил Лютова.

— Да, да, безусловно, — жандарм приложил руку к сердцу, наклонил голову. — Приношу извинения.

— Когда мне доставили два жестяных цилиндра, я наполнил их динамитом и пулями.

— Отравленными?

— Да, отравленными.

— Стрихинном?

— Да, стрихнином... Потом я сделал два картонных футляра, вложил в них снаряды и оклеил футляры сверху коленкором. После этого снаряды от меня унесли. Собственно говоря, этим и ограничилось мое участие в замысле на жизнь государя императора.

— Скажите, Ульянов, — начал прокурор медленно, задумчиво, — а третий снаряд вы тоже коленкором обклеили?

— Ни о каком третьем снаряде я ничего не знаю.

— Но ведь всего было три снаряда?

— Не знаю. Уж чего не знаю, того не знаю, — улыбнулся Саша.

— Три, три, — сделал уверенный жест рукой Лютов. — У Генералова — раз, у Андреюшкина — два, у Осипанова — три.

— Разве только три? — повернулся Котляревский к ротмистру. — А у этих — у Канчера, Горкуна, Волохова ничего не было?

— По-моему, три. — наморщив лоб, обозначил напряжение памяти Лютов. — Впрочем... Александр Ильич, ведь только три снаряда у вас было, я не ошибаюсь? Или было там, кажется, что-то еще, а?

— Если вы все знаете, тогда нелепо продолжать эту комедию вопросов, на которые у вас уже имеются ответы.

— Вы должны сказать, кто изготовил третий снаряд!

— Отвечать отказываюсь.

— Кому вы возвратили приготовленные снаряды?

— Отвечать отказываюсь.

— Кто вместе с вами набивал снаряды динамитом?

— Я это делал один.

— Но снарядов было три?

— Да, три.

— А вы сделали два?

— Два.

— Где же хранился третий снаряд?

— Не знаю.

— Вы также утверждаете, что вам было неизвестно число прямых участников нападения на государя?

— Да, неизвестно.

— Желаете показать что-либо об участии в вашем деле арестованного Андреюшкина?

— Нет, не желаю. Я устал. Прошу отправить меня в крепость.

— Генералова?

— Не желаю.

— Осипанова?

— Нет.

— А не могли бы вы объяснить, Ульянов, какая роль в организации покушения была отведена Иосифу Лукашевичу?

— Не могу объяснить.

— Но вам же знакома эта фамилия?

— Да, знакома. Это мой однокурсник по университету.

— Тогда в чем же дело?

— Я прошу отвезти меня в крепость.

— Я не понимаю вас, Ульянов. Вы снова начинаете упорствовать.

Саша молчал.

— Последний вопрос, — упрямо поджал губы товарищ прокурора. — На какое время было назначено покушение? Потрудитесь, Ульянов, назвать час более точно.

— Ну откуда же ему знать об этом? — добродушно рассмеялся жандарм. — Ведь Александр Ильич у нас техник. Он покушениями не занимается. Он только бомбы динамитом набивает.

Ротмистр сделал знак писарям — вызвать конвой. Иванов и Хмелинский вышли.

— Между прочим, — Лютов положил Саше сзади руку на плечо, — товарищи ваши более разговорчивы и откровенны. Я, конечно, понимаю — принципы и так далее. Но ведь этак можно и в смешное положение попасть...

Вошел конвой.

— Расстаемся ненадолго, Александр Ильич, — разгладил Лютов усы. — Всего лишь до завтра. Подумайте о моих словах. Не надо усложнять жизнь себе, а заодно и нам. Помните о ваших братьях в Симбирске.

Когда Ульянова увели, Котляревский нервно встал, шумно отодвинул стул.

— Я удивлен вашей бестактностью, ротмистр, — обиженно заговорил он, собирая листы протокола. — Почему вы прервали мои вопросы? Ведь он уже начал раскрываться. Он подтвердил показания Канчера по поводу...

— А я удивлен вашей ненаблюдательностью, господин товарищ прокурора! — грубо оборвал Котляревского Лютов. — Он уже закрылся, ушел в себя, а вы все еще продолжали спра-

шивать о каких-то мелочах. Вы же знаете мнение государя: взяты мальчишки! Основные участники заговора на свободе. В любую минуту покушение может быть повторено!

Ротмистр грузно прошелся по комнате.

— Нужно нащупать их связи на свободе. Нужно дать понять Ульянову, что мы знаем об этих связях.

— Я полагаю, что все связи давно уже обрублены. По делу арестовано около восьмидесяти человек. Их организация полностью разгромлена.

— Когда казнили желябовцев, все тоже были уверены, что террористов в стране больше нет. Однако ровно через год Желваков и Халтурин убили в Одессе Стрельникова. Вы знаете об этом не хуже, чем я.

Лютов поправил воротник мундира, дотронулся рукой до шеи.

— Если что-нибудь подобное повторится и сейчас, нам не простят этого никогда. Вот о чем нужно думать больше всего.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Симбирский холм — посредине России. Скачи от него в любую сторону — одной и той же длины будет дорога до края русской земли... Крестами и куполами своих соборов высоко вознесен холм над Волгой — похож на шишкастый шлем на голове былинного богатыря, врос в местность лобасто, плечисто, осанисто, кряжисто. С вершины его, как с дозорной вышки, гляди не наглядишься. Особенно в начале весны, когда новой синью распахнуты далекие горизонты и, предшествуя разливу вод, переполнена половодьем света бездонная чаша неба над головой.

Володя отвернулся от реки. Смолисто желтели стены домов в Подгорье, веселыми пятнами вспыхивали на солнце новые крыши. Хозяева чинили покосившиеся заборы — на снег летели кудрявые стружки. Цвели красными женскими платками лестницы и спуски, горбатились рыжие дороги. Четко печатались следы саней на поворотах. Деревья делили небо розовыми ветками, облака цеплялись за сучья, теплой влагой веяло от земли и от неба, все было наполнено ожиданием близких перемен, жаждой обновления, и казалось, что пройдет еще несколько мгновений, и все вокруг изменит свой вид — растают

снега, вскроются реки, пробьется наверх трава и небо заполнится клекотом и журканьем перелетных птиц.

— Во-во оборвется, — неожиданно сказал кто-то сзади.

Володя обернулся. Позади него, мечтательно щурясь на Волгу, стоял молодой синеглазый крестьянин в рыжем, высоко под мышками подпоясанном армяке и новых желтых лаптях.

— Что оборвется? — не поняв, переспросил Володя.

Синеглазый крестьянин провел варежкой по верхней губе, улыбнулся, бойко затараторил на манер приказчиков из магазина Юдина.

— Позимье, говорю, баринок, должно враз окончиться. Перестоялась нонче зимушка-то. Тимофей-весновей уж прошел, а мы — в город собираться — боимся сани запрягать: не придется ли бросить где, а коня в поводу домой вести... Одно слово, враз все оборвется.

— Может быть, — неопределенно сказал Володя.

— Оно, видишь ли, другой раз как получается, — придет весна ранняя, да ничего не сто́ит. Затает рано, а не растает долго. Как говорится, обнадейчивая, да обманчивая... А поздняя вёсиушка — она не обманет.

— Еще морозы могут ударить...

— Мартовский морозец с дуплом, — прищурился синеглазый, — не настоящий. Зима-то теперь и спереди и сзади.

— А как вы думаете — теплая в этом году будет весна? — спросил Володя, искоса поглядывая на молодого крестьянина. — Волга широко разольется?

Мужичонка сдвинул на лоб суконную колпачного вида шапку, поскреб в затылке.

— Про это дело, барин, старики хорошо знают, которые много годов землю топчут и примечают, что и как получается... Все же скажу тебе так: у нас по крестьянству перелетные птахи всем загадкам ответчицы. Садится, скажем, грач сразу на гнездо — весна будет общая, дружная. А ежели гусь низко летит — воды талой совсем не прибудет...

— А если высоко?

— Тогда жди большой воды. А вода и хлебу родительница, и всякой зелени. Вода на лугу — сено в стогу... Теперь возьмем утицу дикую. Прилетела она, матушка, сытая да ленивая — жди отзимка. А там и лето с градом — ни пахать, ни сеять нет резону. Все овсы побьет.

— Что же, совсем не пахать и не сеять?

— Совсем — нельзя, голодень удавку набросит. Но и на большой приварок не надейся.

— Так какая в этом году весна ожидается?

— Видишь ли, барин...

— Вы меня, пожалуйста, барином не называйте. Я не барин.

— А кто же будешь? Из дьяконов?

— Учащийся.

— Ну, да... оно, конечно... Так вот, милый ты человек, ничего нам про нонешние погоды еще не известно... Вот пройдет Прокоп-перезимний, последние сани на гвоздь повесит, тогда на Евдокею-плющиху старцы и скажут, когда пахать, чего сеять...

— А что это такое — Евдокея-плющиха?

— Это, парень, заглавный день всей весне. С ее весь новый год, вся новолетия начинается... Будет, к примеру, Евдокея красна — придет и лето доброе, и теплая весна... А не снарядит Авдотья на пироги — протягивай, крестьянская душа, ноги.

— Вы из каких мест будете? — спросил Володя.

— Мы с-под Ардатова...

— А зовут как вас?

— Зовут Парамоша...

Володя с трудом сдержал улыбку.

— А по отчеству?

— По отчеству буду Лукич.

— Спасибо вам, Парамон Лукич, за хороший разговор. И бабушка ваша мне очень понравилась. Жива она еще?

— Конечно, жива, — чего ей исделается. Всего-то девяносто первый годок с Покрова пошел...

— А вы шутник, Парамоша!

— Это как водится...

— Ну, прощайте.

Володя протянул крестьянину руку. Парамон Лукич взял ее осторожно, с непривычки неловко — одними пальцами.

— Смелее, смелее! — засмеялся Володя и крепко пожал широкую заскорузлую руку.

Парамон заулыбался, затеплился синими глазами, ответил на пожатие руки.

— Спасибо и тебе, барин, за доброе слово, за обхождение...

— Я же просил вас не называть меня барином! — вспыхнул Володя.

— Извиняйте, конечно, ежели по глупости чего не так сказал...

Крестьянин неожиданно снял шапку и поклонился Володе.

— Сейчас же наденьте шапку!

Парамон нахлобучил колпак, растерянно заморгал.

— Почему вы так плохо думаете о себе? Вы же умный, наблюдательный человек!.. И зачем вам понадобилось кланять-

ся? Что я — исправник, пристав, губернатор? А потом — вы же свободный человек и вообще никому кланяться не обязаны! Ведь теперь воля!

Синеглазый крестьянин внимательно посмотрел на Володю, вздохнул.

— Воля-то она, милый человек, воля, да с непривычки не всегда знаешь, как и ступить...

— Прощайте!

И, резко повернувшись, Володя быстро зашагал от реки.

II

— Александр Ильич, это третья наша с вами встреча, не так ли?

— Совершенно справедливо, господин ротмистр.

— У нас с вами друг от друга секретов нет, а?

— Какие уж там секреты...

— Поэтому о своем участии в деле нужно рассказывать обстоятельно и подробно...

— Я уже рассказал решительно все. Мне просто совершенно нечего добавить.

— Я перебью, ротмистр... Мы располагаем сведениями, Ульянов, что вы были одним из наиболее активных организаторов замысла на жизнь государя. Вы подтверждаете это?

— Нет, господин прокурор, не подтверждаю. Я вообще не был организотором замысла на жизнь государя императора.

— Ну не организатором — как бы это найти нужное слово... Инициатором, да?

— Инициатором тоже.

— Не хотите ли вы сказать, что ваша роль в деле сводилась только к интеллектуальному участию?

— Приблизительно так и было.

— Но вы же организовали вступление в заговор нескольких лиц, которые обвиняются сейчас по одному с вами делу.

— Я всего лишь несколько раз беседовал с некоторыми из обвиняемых.

— О чем?

— О многом... О ненормальностях существующего строя, например.

— Еще о чем?

— О тех путях, которыми этот строй должен быть исправлен.

— Какие же это пути?

— Пропаганда. Просветительская деятельность. Культурная работа.

— Пропаганда чего?

— Экономических идеалов.

— Господин прокурор, теперь я вас перебью... Александр Ильич, вот вы говорите: экономические идеалы, просветительская деятельность, культурная работа... А бомбы? Отравленные пули?

— Террор необходим, чтобы вынудить правительство к уступкам.

— К уступкам? В чью же пользу?

— В пользу наиболее ясно выраженных требований общества.

— Общество может требовать все, что угодно, стремиться к любым идеалам, но зачем же царя убивать? У него ведь семья, дети...

— Экономические идеалы, господин ротмистр, доступны только зрелому обществу. А эта зрелость достигается политическими свободами. В России же эти свободы отсутствуют полностью.

— Позвольте, но...

— Только при известном минимуме политических свобод целесообразна и продуктивна пропаганда экономических идеалов. Пока их нет — одни лишь бомбы и пули могут заставить правительство дать обществу эти свободы.

— Это программа вашей партии?

— Нет, это мои личные убеждения.

— И эти убеждения вы неоднократно пересказывали своим товарищам по университету?

— Некоторым из них, господин прокурор.

— Склоняя их тем самым к участию в покушении на государя?

— Все участники покушения, насколько мне известно, пришли к убеждению о необходимости террора самостоятельно. Путем зрелого и продолжительного размышления.

— Но вы же не станете отрицать, Ульянов, что, разговаривая о терроре с вашими однокурсниками, вы оказывали на них определенное влияние?

— Влияние это было ничтожно.

— Но оно же могло ускорить намерения этих лиц вступить в террористическую фракцию?

— Очень незначительно. Я повторяю: все участники покушения действовали вполне сознательно и убежденно.

— Александр Ильич, мне хотелось бы немного поговорить с вами насчет Андреюшкина. Не возражаете?

— Отчего же? Пожалуйста.

— Скажите, динамит вы изготовляли только из азотной кислоты?

— Да, только из азотной.

— А сама кислота? Где она была приготовлена?

— В каком смысле — где?

— Ну, скажем, в черте города или в дачной местности?

— Вся кислота была приготовлена в городе. А какое это имеет значение?

— Александр Ильич, мы же условились с вами, что вопросы задаю только я.

— Условились.

— Ну вот и прекрасно... Значит, вся кислота была сделана в городе...

— Да, в городе.

— А не скажете ли точнее, где именно в городе? По какому адресу?

— Мне бы не хотелось...

— ...говорить, что кислота производилась на квартире у Андреюшкина, так, что ли, Александр Ильич?

— Ну, не совсем так...

— И под вашим руководством и по вашим рецептам, а?

— Вся партия азотной кислоты, изготовленная на квартире Андреюшкина, оказалась слабой. Нитроглицерин из нее приготовлять было нельзя, и ее пришлось уничтожить.

— Каким способом?

— Мы вылили ее в Неву.

— Александр Ильич, а ведь вы нас путаете. Нехорошо-с... В Неву была вылита та часть кислоты, которую приготовляли у вас на квартире, а не у Андреюшкина. Та самая часть, которую привез из Вильно Канчер. Припоминаете?

— Вполне вероятно. Сейчас я уже не могу точно утверждать, какую именно часть кислоты пришлось уничтожить.

— Теперь относительно динамита, Ульянов... У кого на квартире вы делали его?

— Вы же знаете об этом господин прокурор, со слов Канчера.

— А сейчас хотелось бы узнать с ваших слов.

— Извольте. Белый динамит приготовлялся мною.

— В Парголове?

— Да, в Парголове.

— Когда?

— В феврале.

— А точнее?

— В первой половине февраля.

— Так, дальше.

— . . . .

— Смелее, смелее.

— . . . .

— Почему же замолчали, Ульянов? Вы, наверное, хотите сказать, что динамит вы готовили в доме акушерки Ананьиной?

— Я давал уроки сыну госпожи Ананьиной.

— И одновременно?..

— В первых числах февраля я попросил Михаила Новорусского найти мне урок.

— Новорусский был вашим другом?

— Нет, просто знакомый.

— Он учился в университете?

— Нет, Новорусский был кандидат Духовной академии. Вы это прекрасно знаете сами.

— Продолжайте, Ульянов.

— Ананьина знала о ваших занятиях с динамитом?

— Новорусский договорился со своей тещей Ананьиной...

— Ульянов, отвечайте прямо на поставленный вопрос: Ананьина знала о том, что в ее доме делается динамит?

— Конечно, нет.

— А Новорусский?

— Тоже нет.

— Но ведь это он предложил вам поехать на дачу своей тещи?

— Нет, давать уроки в Парголове я вызвался сам.

— Между прочим, вина Новорусского от этого нисколько не уменьшится.

— И тем не менее я повторяю: идея поездки в Парголово принадлежит только мне.

— Александр Ильич, я понимаю: вы человек благородный, хотите полностью выгородить Новорусского и Ананьину...

— Они решительно ни в чем не виноваты.

— Но ведь вашу химическую лабораторию в Парголово доставил Новорусский, а?

— Он не мог знать, для чего она предназначается.

— А для чего она предназначалась?

— Мне необходимо было изготовить недостающую часть динамита. Очень незначительное количество.

— А почему вы решили изготовить динамит именно на даче? Почему вы не сделали это на одной из городских квартир вашей фракции?

— Вследствие неудобства городских квартир для изготовления динамита, господин ротмистр.

— Сколько дней вы пробыли в Парголове?

— Около пяти.

— Точнее?

— Точнее сказать не могу.

— Когда вы прибыли туда?

— Между десятым и двенадцатым февраля.

— Убыли?

— Числа четырнадцатого, пятнадцатого.

— Что же явилось причиной ваших столь непродолжительных занятий с сыном Ананьиной?

— Ананьина сделала мне выговор за мои химические занятия.

— Значит, она догадалась, что вы приготовляете динамит?

— Нет, она высказалась в том смысле, что я больше времени уделяю химии, чем ее сыну.

— Она подозревала, что ваши опыты незаконны?

— Да, она говорила мне об этом.

— И что же?

— После первого же разговора с Ананьиной я уехал.

— А ваши опыты?

— Цель моих опытов была достигнута. Динамит был уже готов.

— У вас не сложилось такого впечатления, Александр Ильич, что Ананьина или кто-нибудь из ее родственников принадлежат к революционной партии, о существовании которой вам, предположим, ничего не известно?

— Нет, у меня такого впечатления не сложилось.

— Ананьина вела когда-нибудь с вами разговоры о старой «Народной воле»? О Желябове? О Перовской, например?

— Нет, никогда.

— А Новорусский?

— Тоже не вел.

— А вы были знакомы с женой Новорусского?

— Я виделся с ней несколько раз.

— Где?

— В Петербурге.

— Как ее зовут?

— Лидия.

— Она родная дочь Ананьиной?

— Кажется, да.

— Скажите, Ульянов, до вашего приезда в Парголово Ананьина жила на своей даче?

— Этого я не знаю.

— Но ваша лаборатория была отправлена на дачу вместе с вещами Ананьиной?

— Да, вместе.

— Странное получается совпадение, не правда ли?

— Что вы имеете в виду?

— Кое-что любопытное...

— А именно?

— Слушайте меня внимательно, Ульянов. До того дня, пока вам не понадобилось сделать недостающую часть динамита, Ананьина на даче не жила. Потом она перевозит в Парголово свои вещи вместе с вашей лабораторией...

— Это случайное совпадение.

— Дальше. Ананьина заявляет вам, что вы не устраиваете ее как репетитор ее сына только после того, когда изготовление динамита закончено, но никак не раньше этого.

— Это тоже случайно, господин прокурор.

— Александр Ильич, а если честно, а?.. Через Ананьину и Новорусского вы держали связь с Исполнительным комитетом... Ведь правильно?

— Господин ротмистр, ваш вопрос не только не серьезный, но и просто смешной.

— Ах, Александр Ильич, нам с прокурором вовсе не до смеха.

— Ульянов, как звали сына Ананьиной?

— Николай.

— Сколько раз вы занимались с ним?

— Один или два.

— И Ананьина только на пятый день высказала вам свое неудовольствие как педагогу?

— Да, только на пятый.

— А вы не находите это странным?

— Нет, не нахожу.

— Значит, пять дней в доме Ананьиной живет чужой человек, с сыном ее, как было договорено, не занимается, сутками напролет возится с химической аппаратурой. И хозяйка все пять дней никак не реагирует на это, считая, что все идет нормально?

— Да, Александр Ильич, тут концы с концами не сходятся...

— Ульянов, что вы брали с собой в Парголово? Из личных вещей?

— Кажется, одну рубашку...

— И все?

— Да, все.

— А постель? Одеяло, подушка?

— Все это давала Ананьина.

— А вознаграждение?

— В каком смысле?

— Сколько вы должны были получать за свои уроки? Был разговор об этом?

— Нет, не было...

— Где вы обедали, когда жили в Парголове?

— Я обедал вместе с хозяйкой и ее сыном.

— Смотрите, Ульянов, какая забавная получается картина: пять дней вы живете в доме совершенно чужого человека, с сыном хозяйки не занимаетесь, а вас поят, кормят, дают вам белье.... Спрашивается: за что? За какие заслуги? Вывод напрашивается сам: за то, что вы с утра до ночи ковыряетесь в своих пробирках. То есть за то, что вы изготовляете динамит. Хозяйка дома знает об этом, она в одном заговоре с вами... Больше того, от нее идет связь к другим участникам заговора, имена которых вы пока назвать отказываетесь, ухудшая тем самым и свое положение, и положение вашей семьи, особенно ваших братьев в Симбирске...

— Кроме арестованных участников заговора, списки которых вы мне вчера показывали, никакие другие имена мне не известны.

— А ну-ка посмотрите мне в глаза, Ульянов... А для кого вы тайно оставили в доме Ананьиной еще одну партию нитроглицерина?

— Нитроглицерина?

— Да, да, между оконными рамами? В комнате, которая находилась напротив вашей лаборатории?

— Я сейчас уже не припоминаю... Впрочем, да, я, кажется, действительно оставил часть нитроглицерина в банке со слабым раствором соды. Для безопасности.

— Не оставили, а спрятали! И не в своей лаборатории, а в другой комнате... Этот нитроглицерин предназначался для тех участников заговора, которые еще находятся на свободе. Они должны повторить покушение на государя!

— Никакого повторения мы не собирались делать...

— Вы лжете, Ульянов! Нагло лжете... Вы запутываете следствие. Вы отказываетесь назвать имена еще не выявленных участников заговора. Учтите: это найдет отражение в вашем приговоре.

— Я никого не запутываю, господин прокурор.

— Значит, за спрятанным вами нитроглицерином никто не должен был прийти?

— Никто.

— В таком случае кому же предназначалась оставленная вами в доме Ананьиной — с разрешения хозяйки, разумеется, — столь тщательно и квалифицированно подобранная химическая лаборатория? Господин ротмистр, соблаговолите прочитать протокол обыска в доме Ананьиной в Парголове.

— С удовольствием. Так, так... Гм, гм... Ага, вот!.. «...а также обнаружены и приобщены к делу следующие химические приборы и реактивы: четыре банки из-под азотной кислоты, два стеклянных градуированных цилиндра, два термометра, три фарфоровые вытяжные чашки, четыре стеклянных колпака, полторы бутылки серной кислоты, пакет магнезии, один ареометр, две лампочки, хлористый кальций, несколько железных треножников, три десятка тонких стеклянных трубок, пробирки, колбы, щипцы, пинцеты, медицинские весы, резиновые перчатки...» Одним словом, целый арсенал. Вполне хватило бы еще на добрую дюжину покушений.

— Ну, что вы теперь скажете, Ульянов? Кому в наследство оставляли вы этот динамитный завод?

III

— Доброе утро, Александр Ильич.

— Доброе утро, господин ротмистр.

— Удивлены отсутствием прокурора?

— Я разучился удивляться.

— Так быстро?

— Какое сегодня число?

— Одиннадцатое марта.

— А предыдущий допрос был...

— Пятого марта. Соскучились?

— Я не мог понять, чем был вызван этот перерыв.

— Э, Александр Ильич, разве тут кто-нибудь что-нибудь поймет. Хаос!

— И все-таки это было странно...

— Вы же разучились удивляться.

— Это не удивление. Вы так торопили меня на предыдущих допросах, и вдруг...

— А может быть, мы решили немного схитрить, а? Чтобы вам хотелось давать показания, а мы вас в это время ни о чем не спрашиваем. Смешно-с, не правда ли? Ха-ха-ха...

— Сегодня я, кажется, снова научусь удивляться.

— Вот и прекрасно!

— Вы так откровенны...

— Александр Ильич, дорогой вы мой! Да ведь разве я не человек? Разве слабости-то человеческие мне присущи быть не могут? Это ведь только служба, мундир голубой, а так... Э, да что там говорить!

— Я вас понимаю.

— Вот это самое главное: чтобы мы понимали друг друга...

— Господин ротмистр, так чем же был вызван перерыв?

— Ах, Александр Ильич, не старайтесь перехитрить меня. Я стреляный воробей...

— Мы же условились быть откровенными друг с другом.

— Да, пожалуй, вы правы... Ну что же, я отвечу. Есть новости...

— Какие?

— Арестован Говорухин.

— Говорухин? Но ведь он же...

— Что, что?

— Нет, ничего.

— Вы что-то хотели сказать о Говорухине, а?

— Вам показалось.

— Может быть, может быть... Александр Ильич, простите, не Говорухин арестован, а Шевырев!

— Вот как?

— Конечно, Шевырев. Я совершенно перепутал. Очень схожие фамилии.

— Да, схожие...

— Шевыревым мы сейчас с вами и займемся, пока нам никто не мешает.

— Почему же Шевыревым? Можно и Говорухиным заняться.

— Хм... Ну, пожалуйста, можно и Говорухиным. Только, Александр Ильич, я вас очень попрошу — все сразу начистоту, как на духу, а?

— Конечно, конечно.

— Вот эта самая Шмидова... Как ее звать-то, что-то я подзабыл.

— Раиса.

— Да, да, Раиса! Совершенно правильно. Она, что же, в интимной связи была с Говорухиным, или как?

— Этого я знать не могу.

— Ну как же, Александр Ильич? Близкие друзья были, и не знаете?

— Об интимных связях даже близкие друзья не всегда друг другу рассказывают.

— Это верно... Значит, Шмидова была, по-вашему, просто соседкой Говорухина по квартире?

— Скорее всего именно так.

— А вы часто бывали у них на квартире?

— Да, довольно часто.

— И ничего такого, «соответствующего», не замечали?

— Нет, не замечал.

— А когда последний раз видели Говорухина?

— Дней за десять до моего ареста.

— А Шмидову?

— В день ареста.

— Где?

— Она приходила ко мне.

— А почему вы не отдали ей письмо, которое было адресовано ей и которое нашли у вас при обыске?

— Забыл.

— А если честно?

— Действительно забыл. В этот день, как вы сами знаете, было не до любовных посланий.

— Значит, Шмидова все-таки была в связи с Говорухиным?

— Я этого не утверждаю.

— А как к вам попало это письмо на имя Шмидовой?

— Я получил его по загородной почте. Оно было вложено в конверт.

— Первый конверт был адресован вам лично?

— Да.

— Что еще было в конверте?

— Записка.

— Какого содержания?

— Автор просил переслать письмо Шмидовой по городской почте.

— А вы не успели этого сделать?

— Не успел.

— И не передали Шмидовой письмо даже тогда, когда она приходила к вам?

— Я забыл. Я уже говорил об этом.

— А может быть, вы просто не хотели, чтобы Шмидова получала это письмо от Говорухина?

— Нет, я забыл.

— Или... а, вот и прокурор! Здравия желаю.

— Здравствуйте, ротмистр. Здравствуйте, Ульянов.

— Здравствуйте, господин прокурор.

— Ну-с, мы продолжим. У меня создается такое впечатление, Александр Ильич, что вы сознательно утаивали местонахождение Говорухина от Шмидовой. Говорухин назначался вами еще для каких-то дел. А Шмидова могла навести на его след полицию, не так ли?

— Я ничего не знаю об этом.

— Ульянов, а вам известно, что арестован Шевырев?

— Известно.

— А вы знаете, какие он дает показания?

— Естественно, нет.

— Шевырев подтвердил наши предположения, что химическая лаборатория на даче Ананьиной была специально оставлена вами для повторного покушения.

— Повторять покушение некому. Вся организация арестована.

— А Говорухин?

— . . . .

— Молчите?

— А что я могу сказать?

— Многое.

— Например?

— Когда вы уехали с дачи Ананьиной?

— Пятнадцатого февраля.

— Больше с ней не общались?

— Нет.

— А кто послал Ананьиной еще одну бутыль с азотной кислотой двадцать второго февраля?

— Не знаю. Впрочем... я послал.

— Почему вы скрыли это на предыдущем допросе?

— Я запамятовал.

— Да что вы говорите? Ай-ай-ай! Бедный Ульянов! У него, оказывается, куриная память.

— Господин прокурор, я прошу вас не оскорблять меня.

— Молчать! С цареубийцами не соблюдают правил этикета! Кто написал записку?

— Какую?

— С просьбой к Ананьиной принять и спрятать бутыль с кислотой? Вы или Новорусский?

— Не скажу.

— Кто отвозил бутыль в Парголово?

— Не скажу.

— Жена Новорусского Лидия приходится Ананьиной родной дочерью?

— У вас куриная память, господин Котляревский!

— Что-о?!

— Вы уже спрашивали меня об этом.

— Так, так. Ну ладно... Лидия Новорусская у вас на квартире была?

— Не скажу.

— Почему двадцатого февраля Новорусские переменили адрес в Петербурге?

— Не скажу.

— Вы опять за свое, Ульянов? Вам это дорого обойдется.

— Не пугайте меня. Я знаю, что меня ждет.

— Ах знаете? Отлично... Во время обыска у вас на квартире найдена коробка с землей. Для чего она была нужна?

— Кто она?

— Земля.

— Для смеси с нитроглицерином.

— Зачем?

— Для усиления нитроглицерина.

— Так, так, прекрасно... А скажите, Ульянов, земля, обнаруженная у вашей сестры Анны, тоже назначалась для смеси с нитроглицерином?

— Нет, эта земля принадлежала мне. Она назначалась для химического анализа.

— А порошки, также найденные у вашей сестры?

— Это мои зоологические препараты.

— Зоологические? Прекрасно...

— Аня не имела никакого отношения к замыслу на жизнь государя.

— И тем не менее предметы, обнаруженные у нее на квартире, дают все основания для привлечения Анны Ульяновой по вашему делу.

— Вы не посмеете сделать этого!

— Прекратите истерику, Ульянов! Ротмистр, продолжайте. Я ухожу на допрос Шевырева. Честь имею.

— . . . .

— Вот видите, Александр Ильич, как нехорошо все получилось...

— Я ненавижу этого вашего прокурора, ненавижу! Какое право он имеет мучить Аню?

— Да теперь об этом ли печалиться?

— О чем же еще?

— Почему вы не назвали лиц, которые вторично отвозили кислоту в Парголово?

— Потому что это совершенно случайные люди! Они даже не

знали, что именно везли. Зачем же из-за такой мелочи ставить их под угрозу?

— Может быть, может быть... А вот скажите, Александр Ильич, что это за вычисления у вас в записной книжке? Вот здесь.

— Это формулы для бомб.

— А дальше какие-то чертежи, адреса, а? Я что-то совсем запутался.

— Это... впрочем, я не могу называть.

— Почему же?

— По той же самой причине. Подозрение упадет на абсолютно ни в чем не замешанных людей.

— У вас на квартире нашли химические палочки. Они для чего же?

— Это едкий натр.

— Ну-у? А он что же?..

— Едкий натр используется для уничтожения следов.

— Во-он оно что. Понятно. Какие же вы следы уничтожали?

— Динамитные.

— Ага, ясно... Александр Ильич, как вы все-таки думаете: Шмидова знала о покушении?

— Не имела ни малейшего представления.

— Хотя бы приблизительно? В общих чертах?

— Ни в общих, ни в частных.

— Точно?

— Абсолютно.

— Но ведь по материалам дела она значится постоянным почтальоном между Говорухиным и вами.

— За время нашего знакомства Шмидова передала мне всего две записки. Ни содержания, ни авторов этих записок она не знала.

— Устали, Александр Ильич?

— Немного.

— Ну, давайте заканчивать.

— У меня просьба...

— Какая?

— Мне хотелось бы, чтобы в дальнейшем меня допрашивали только вы.

— Без прокурора?

— Да.

— Незаконно это, Александр Ильич.

— Господин Котляревский нарушает мое душевное равновесие. А это мешает следствию.

— Я постараюсь похлопотать. Но твердо не обещаю.

— Я вам заранее благодарен.
— Спокойной ночи, Александр Ильич!
— Спокойной ночи, господин ротмистр...

IV

— Ульянов, кто дал вам адреса в Вильно для Канчера? Куда сначала он должен был...

— Я просил, чтобы впредь мои допросы вел только ротмистр Лютов.

— Не перебивайте меня. Куда должен был...

— Я не буду отвечать.

— Причина?

— Вы оскорбили меня на предыдущем допросе.

— Вам нужны мои извинения?

— Ни в коем случае.

— Тогда потрудитесь отвечать. По какому адресу должен был идти Канчер в первый же день своего приезда в Вильно?

— . . . .

— Сколько азотной кислоты получил Канчер в Вильно и от кого?

— . . . .

— Напрасно вы молчите, Ульянов. Это не в вашу пользу.

— . . . .

— Сколько денег передали из Вильно для вашей организации?

— Какое сегодня число?

— Девятнадцатое марта. Будете отвечать?

— . . . .

— Хорошо, тогда я буду отвечать за вас... При отъезде Канчера в Вильно вы дали ему адрес своей сестры Анны. Канчер должен был дать по этому адресу условную телеграмму о своем возвращении в Петербург. Правильно?

— . . . .

— Канчер должен был привезти из Вильно азотную кислоту, стрихнин и пистолет. Подтверждаете?

— . . . .

— Третьего февраля Канчер дал из Вильно телеграмму следующего содержания: «Петербург. Петербургская сторона, Съезжинская улица, дом № 12, кв. 12. Ульяновой Анне Ильиничне. Сестра опасно больна. Петров»... Была такая телеграмма? Молчите... Все еще думаете, что это не улики против вашей сестры?

— Против Аии улнк нет.

— А земля для смеси с нитроглицериному?

— Это была другая земля.

— Какая такая другая?

— У меня на квартире вы нашли специальиую инфузорную землю. А у Аии была обыкновенная земля.

— А порошки?

— Я заявлял уже: это мои зоологические препараты.

— А комплект еще одной, третьей по счету лабораторин, найденной у вашей сестры?

— Три пробирки не могут служить лабораторией.

— А телеграмма Канчера?

— Телеграмма не в счет.

— Это почему же?

— Аня ничего ие зиала об истиином значении телеграммы.

— Но тем не менее телеграмма пришла на ее почтовый адрес?

— . . . .

— И она передала ее лично вам? Из рук в руки?

— . . . .

— Отвечайте, черт бы вас побрал!

— . . . .

— Почему телеграмму с таким страниым содержанием она понесла именно к вам? Вы предупреждали ее заранее?

— Да, я сказал Ане, что жду телеграмму с такой подписью.

— Как вы объяснили ей необходимость посылки телеграммы для вас на ее адрес?

— Я ие объясиял ей этого.

— А как она объясиила это себе?

— Не знаю.

— Почему же она, получив эту явно шифрованную телеграмму, не донесла о ией властям?

— Сестра редко бывает доиосчицей иа родиого брата, господии прокурор.

— Следовательио, ваша сестра способствовала сохранеиию тайны содержащегося в телеграмме шифра. А это есть действия, которые можно квалифицировать как прямое участие в замысле на жизнь государя.

— Она ие могла способствовать сохраиению шифра, так как не зиала, что в телеграмме есть шифр.

— Ульяиов, у меня к вам предложение: вы иазываете местонахождеиие Говорухииа, и я вообще исключаю Аину Ильиничну из вашего дела.

— Вы не сможете сделать этого.

— Почему?

— Протоколы допросов, как я догадываюсь, находятся под наблюдением.

— Но сегодня, как видите, я не веду никакого протокола. Мы с вами совершенно одни, как говорится, с глазу на глаз.

— Аня упоминалась на предыдущих допросах.

— Я употреблю все свое влияние, чтобы дело Анны Ильиничны было выведено в отдельное производство.

— Какие вы даете гарантии?

— Слово дворянина.

— Не очень-то надежно.

— Другими, к сожалению, не располагаю.

— Хорошо, я скажу, где находится Говорухин... Его нет в пределах империи. Он за границей.

— Это неправда. Говорухин оставлен вами на свободе. Он тщательно законспирирован. Он будет пытаться повторить покушение.

— Если бы это действительно было так!..

— Вы обманули меня, Ульянов. Я беру свое слово обратно.

— А я знал, что так и будет. Ваши представления о слове и чести дворянина, господин Котляревский, находятся на очень низком уровне.

— Я ударю вас, Ульянов!

— В теперешнем моем положении это не составит для вас труда.

— С кем вы встречали Канчера на Варшавском вокзале?

— . . . .

— Кто взял у вас револьвер? Сам Генералов или какое-нибудь другое лицо?

— . . . .

— Кто передал вам виленский адрес Пилсудского?

— . . . .

— Шевырев?

— . . . .

— Лукашевич?

— . . . .

— Расшифруйте вот эту запись в вашем блокноте...

— . . . .

— Значит, вы опять отказываетесь отвечать? Ну что ж, дело ваше... У меня есть еще один, очевидно, уже последний вопрос. Канчер в одном из своих показаний говорит, что помогал вам печатать программу вашей партии. Это соответствует действительности?

— Да, соответствует.

— Кто составлял программу?

— Она была составлена при моем участии.

— Вы единственный ее автор?

— Я уже сказал: я принимал участие в ее составлении.

— Не могли бы вы немного рассказать об этой программе? Какие столкнулись мнения при ее выработке? Кто был вашим единомышленником, кто — противником?

— Вас интересуют персональные позиции членов фракции?

— Да, да, персональные. Буквально несколько слов.

— А почему несколько слов? Если вы действительно хотите знать наши взгляды, я могу рассказать о них подробно.

— Да, да, конечно, это очень любопытно.

— Но при одном условии: вы не будете перебивать меня.

— Разумеется... Видите ли, Ульянов, наши предыдущие с вами встречи не всегда, мягко говоря, проходили спокойно.

— Вот именно, мягко говоря.

— Поверьте, я весьма сожалею об этом. Но ведь и вы поймите: служба!.. Я, может быть, лично ничего и не имею против вас. Больше того, вы даже чем-то симпатичны мне — своей твердостью, выдержкой, логичностью. По роду своей деятельности я обязан узнать у вас гораздо больше того, чем вы сами хотите мне рассказать. Профессия требует. Вы понимаете меня?

— Понимаю.

— Я глубоко огорчен тем, что иногда мне приходилось говорить вам слова, совершенно не соответствующие нормам общения интеллигентных людей. Мне бы, несомненно, доставило огромное удовольствие, Александр Ильич, встретиться с вами в иных обстоятельствах, нежели сейчас. Но увы!..

— Да, при иных обстоятельствах наша встреча вряд ли состоится.

— Я говорю вполне серьезно... Впрочем, может быть, это тяжело для вас. Извините.

— Пожалуйста.

— Вы хотели рассказать о программе вашей партии...

— Я жду возможности начать свой рассказ.

— Прошу вас.

— По своим основным убеждениям, господин прокурор, мы социалисты...

— Простите, а название вашей партии? Вы же взяли себе наименование «Народная воля»?

— Я просил не перебивать меня.

— Но, Александр Ильич! Надо все выяснить с самого начала.

— Что вы хотите выяснить с самого начала?

— Вы называете себя социалистами — ну, это еще полбеды. Но ведь вы же на улицы с бомбами выходите!

— Потрудитесь выслушать меня до конца. Тогда вам все сразу станет понятно.

— Извольте.

— Мы, партия революционеров, убеждены, что материальное благосостояние личности и ее полное, всестороннее развитие возможны лишь при таком социальном строе, в котором общественная организация труда дает возможность рабочему пользоваться всем своим продуктом и где экономическая независимость личности обеспечивает ее свободу во всех отношениях...

— Александр Ильич, я все-таки вынужден вас перебить. Я просто не понимаю некоторых ваших положений. Что это означает — общественная организация труда?

— Если вы не понимаете этого положения, вам будет весьма затруднительно разобраться в наших взглядах.

— Я не понимаю в том смысле, в каком вы говорите о возможности рабочего пользоваться всем своим продуктом.

— Но это азбука социалистических знаний, господин прокурор.

— Но я же не социалист!

— По роду своей деятельности вы давно уже должны были бы изучить убеждения социалистов.

— Может быть, и должен. Но дело-то все время приходится иметь не с социалистами, а с террористами!

— Я вас понял, господин Котляревский: вы будете прилагать все усилия к тому, чтобы выставить нас на всеобщее обозрение как заурядных убийц, а не как сознательных борцов за гражданские идеалы.

— В чем заключаются эти идеалы?

— Хотя бы в тех взглядах, которые вы не даете мне высказать... Вы будете слушать?

— Попробую.

— Так вот, только тогда, когда государственное устройство будет приведено в соответствие с социалистическим идеалом, только тогда государство выполнит главную свою задачу — доставить человеку возможно больше средств к развитию. И только в таком обществе будет возможно беспредельное нравственное развитие личности...

— Благонамеренная личность, Ульянов, имеет возможности для нравственного развития и в рамках существующего государственного устройства.

— А неблагонамеренная?

— Должиа стремнться к тому, чтобы стать благоиамеренной. Вот наиболее достойный путь нравствеииого развития.

— Вопрос только в том, что считать благонамереиным, а что — наоборот, ие так ли?

— Этот вопрос не подлежит иикакнм обсуждениям. Релнгия н нравственные нормы общества дают иа иего неизменио постоянный н четкнй ответ.

— Да, конечио... Я зиал, что это иапрасиая затея — пытаться что-либо объясиить вам. Мы с вами биологические аитиподы, господни прокурор.

— Биологические аитиподы? Что вы нмеете в виду?

— Я нмею в виду такое виутреииее устройство двух живых существ, когда они одиовремеино не могут находнться в одиой н той же среде.

— Вам придется времеиио прндержать свои мыслн о бнологии. Коивой!.. Отправить в крепость!

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Семь шагов от окиа до дверей.
Семь шагов от дверей до окна.
Семь шагов.
От окиа до дверей.
Семь шагов.
От дверей до окиа.
Семь шагов.
Еще семь шагов.
И еще семь шагов...
Итак?

Онн хотят политическую акцию превратнть в уголовиое преступление. Свестн все дело только к террору, только к цареубийству, только к дииамиту и отравлеииым пулям.

Не выйдет. Надо дать бой. Надо во что бы то ин стало защищать гражданские и общественные идеалы партии. Надо прнвести в порядок все свои мысли и соображения по этому поводу.

Итак, по убеждениям мы соцналисты. К соцналистическому строю каждая страна приходнт иеизбежио, естествеииым ходом своего экономического развития; ои является таким же необ-

ходимым результатом капнталистического пронзводства и порождаемого нм отиошеиня классов, насколько иеизбежио развитие капитализма, раз страна вступила иа путь деиежиого хозяйства.

Единствениый ли это путь возиикиовеиия социализма? Нет, разумеется...

Итак?.. Соцналнзм доступен обществу только при достаточной зрелости этого общества. Каждый шаг по дороге к воплощеиию социалистического идеала возможен лишь как результат измеиеиия в отношениях между общественными снлами в стране... Правнльна лн эта мысль?.. Пожалуй, да... Только через активную волю народа могут претворяться в его жизиь какиелнбо передовые принципы...

Параллельио с экономическим развитием страны идет ее политическая жизиь. И если растут общественные идеалы, должны измеияться соответственно и формы жизнн. А если состояиие правительства отстает от развитня общества?.. Тогда растущие общественные силы по мере своего созреваиия оказывают иа правительство все большее и большее давлеиие и иакоиец приобретают известисе участие в управлении страиой.

Следовательно, полнтнческая борьба является иеобходимым средством для достнжения дальиейших экоиомнческих преобразоваиий. Но иеобходимо добавнть, что эта борьба возможна лишь от лица определениой общественной группы. И она, борьба, будет тем успешиее, чем шире окажется поддержка, которую найдут требоваиия этой группы в обществе...

Это — теория. А иа практике? Примеиимы ли эти приицнпы к условиям, иапрнмер, русской жизнн? Каковы возможные перспектнвы ее полнтических и социальиых нзменений? И вообще — где оии, эти общественные группы, которые могут совершить подобиые измеиеиия? Что они из себя представляют?

Крестьянство. Это наиболее крупная в России общественная группировка. Оиа сильиа ие только своей числеиностью, но и твердостью своих идеалов. В крестьянской среде до сих пор живы старые, традицноиные прннципы: право народа иа землю, общиииое и местное самоуправление, свобода совести н слова. В последиие годы, после отмеиы крепостного права, в крестьянстве зиачительную теидеицию приобрела мелкая буржуазня. Но все равио мужик пока еще крепко держится за общинное владение землей.

Ои присел к столу. Пожалуй, следует запнсать все это. Перо и чериила есть. Бумагу дают теперь каждый день, ие ограничивают. (Следствие, очевидно, надеется, что при виде чистой бума-

ги арестоваиному самому захочется заполннть ее новыми показаннямн.)

Саша прикрутил фнтиль лампы — решетчатая теиь иа стенах камеры уменьшилась. Обмакнув перо, он на мгиовение задумался, потом начал писать быстро и энергично:

«...Вслед за крестьянством — рабочий класс. По общественному значеиию рабочнй класс составляет значнтельную часть городского населеиня и нмеет огромное значение для социалнстнческой партнн. По своему экономическому положеиию он является естественным проводником этих идей в крестьянство, так как сохраияет с ним обыкновенно тесную связь; накоиец, представляя из себя самую подвнжиую и сплочениую часть городского населения, рабочне будут оказывать сильное влияние иа нсход всякого революцнонного движения. Рабочий класс будет нметь решающее влияние не только на измененне общественного строя, борясь за свои экономнческие нужды. Являясь нанболее способной к полнтической сознательиости общественной группой, он сможет оказывать самую серьезную поддержку и политической борьбе. Именно поэтому он должен составить ядро социалнстической партни, ее ианболее деятельную часть. Имеиио поэтому пропаганде в среде рабочего класса и его органнзацни должны быть посвящеиы главиые силы социалнстнческой партии...»

«...Из других общественных групп — дворянство, духовенство н бюрократия, как не выделенные органнческими условнями русской жизни, а вызванные лишь потребностями правительства н сильные лишь его поддержкой, — классы эти не нмеют почти иикакого значения, и роль их пассивна.

Наша буржуазня находится лншь в иачале своего формирования. Обусловленная слабой диффереициацней русского общества, она ие могла еще выработать классового самосознания н не обладает стройными идеалами. Это отсутствие под буржуазией прочной почвы не позволяет признать ее за серьезную общественную снлу.

Прн слабой днфференцнровке нашего общества на классы мы находим возможным считать иителлигенцию за самостоятельную общественную группу. Не имея классового характера, она не может, конечно, играть самостоятельиой роли в социально-революцнонной борьбе, ио она может явнться передовым отрядом в политической борьбе, в борьбе за свободу мыслн и слова.

Русское правнтельство также прннято считать за самостоятельную общественную снлу. Оно действнтельно является таковой, так как не выражает собой ни одной из существующих

общественных сил, а держится лишь милитаризмом и отрицательными свойствами нашего общества: его неорганизованностью, пассивностью и недостатком политического воспитания. Механическую силу правительства в армии мы считаем необходимым иметь в виду, но, не считая армию особым классом, мы полагаем иметь на нее воздействие наравне с другими общественными группами. Такое положение правительства не может быть прочным и устойчивым: оно принуждено считаться с движением народной жизни и, следуя за ним, уступать, рано или поздно, требованиям общества. Ввиду такой группировки общественных сил в современной России задачи русской социалистической партии сводятся, по нашему мнению, к следующему...»

Он устало выпрямился, прислонился затылком к холодной каменной стене. Продолжать? Нет, надо отдохнуть. Слишком устали глаза, болит голова, ломит поясницу.

Он потушил лампу, добрался на ощупь до кровати, лег и быстро заснул (дело молодое, через десять дней ему должен был исполниться только двадцать один год), словно был и не в камере, не в тюрьме — в одной из самых страшных тюрем России, — а был в своей маленькой, всегда чистой и светлой комнатке на антресолях в родном отцовском доме, в большом двухэтажном отцовском доме в далеком и милом Симбирске — уютном деревянном городишке на высоком и солнечном волжском берегу, густо засыпанном белой кипенью огромных, нескончаемых яблоневых садов...

II

Он долго сидел в темноте, пытаясь вспомнить что-нибудь и понять из недавнего сна, но в голове была путаница, неразбериха, мелькали беспорядочно какие-то бессмысленные видения.

Он встал, прошелся по камере. На столе белели исписанные листы бумаги. Надо продолжить программу партии.

Он несколько раз ударил кулаком в дверь. Далекий поворот ключа, шаркающие шаги.

— В чем дело? — угрюмо спросил заспанный надзиратель.

— Зажгите лампу. Мне нужно дописать показания.

Когда надзиратель ушел, Саша прикрутил фитиль лампы, чтобы меньше коптил, сел к столу, обмакнул перо в чернильницу, пробежал глазами последние строки недописанной вчера

страницы: «...задачи русской социалистической партии сводятся, по нашему мнению, к следующему...»

Итак, он остановился на задачах партии. В чем же они?

«...Главные свои силы партия должна посвящать организации и воспитанию рабочего класса, его подготовке к предстоящей ему общественной роли. Сильная знаниями и сознательностью, партия будет стремиться к возвышению общего умственного уровня общества, наконец, употреблять все возможные усилия к непосредственному улучшению народного хозяйства, к тому, чтобы направить его на путь, соответствующий идеалам партии.

Но при существующем политическом режиме в России почти невозможна никакая часть этой деятельности. Без свободы слова невозможна сколько-нибудь продуктивная пропаганда, точно так же, как невозможно улучшение народного хозяйства без участия народных представителей в управлении страной. Таким образом, борьба за свободные учреждения является для русского социалиста необходимым средством для достижения конечных целей. Инициативу этой борьбы может взять на себя интеллигенция, опираясь как на поддержку рабочего класса, по мере его организации и политического воспитания, так и на все те слои населения, где сколько-нибудь пробудилось сознание своих прав и потребность ограждения от административного произвола. Возможность ведения этой борьбы без предварительной классовой организации, а лишь параллельно ей, мы видим в том, что русское правительство не выражает собой действительного отношения общественных сил в стране, не находит себе активной поддержки ни в одном общественном слое и не обладает поэтому устойчивостью; при всяком серьезном внешнем или внутреннем потрясении оно протягивает руку обществу и уступает тем его требованиям, которые оказываются в данное время наиболее назревшими.

Таким образом, будучи по существу социалистической, партия лишь временно посвящает часть своих сил политической борьбе, так как видит в этом необходимое средство, чтобы сделать более правильной и продуктивной свою деятельность во имя конечных экономических идеалов.

Наши окончательные требования, то есть то, что мы считаем необходимым для обеспечения политической и экономической независимости народа и его свободного развития, мы можем формулировать в следующей программе...»

«...1. Постоянное народное представительство, выбранное свободно, прямой и всеобщей подачей голосов, без различия по-

ла, веронсповеданя н иацнональности, и имеющее полиую власть во всех вопросах общественной жизни.

2. Широкое местиое самоуправленне, обеспеченное выборностью всех должностей.

3. Самостоятельиость сельского, крестьяиского «мира», как экоиомической и администратнвиой еднницы.

4. Полиая свобода совести, слова, печатн, сходок, ассоцнацнй н передвиженнй.

5. Националнзация землн.

6. Национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий производства.

7. Замеиа постояииой армин земским ополченнем.

8. Даровое иачальное обученне».

...Перо повисло иад бумагой. Все? Кажется, все. Может быть, что-иибудь упущеио? Нет, как будто ничего ие упущено. Восемь пуиктов вместилн в себя все задачн партин.

Ои встал, подошел к окну... А может ли программа серьезной политической партии быть ограничеиа только изложением своих задач? А отиошеине к другнм партиям? К лнбералам, например?

«...Нам остается только сказать несколько слов о нашем отиошении к другнм русским партиям. В полнтической борьбе, то есть в борьбе за тот минимум свободы, который необходим нам для пропагандистской и просветительской деятельиости, мы иадеемся действовать заодно с лнбералами, так как мы не можем расходиться с нними, требуя ограничеиия самодержавия и гарантии лнчных прав. Только в дальнейшем будущем иас разведут с нними иашн социалнстическне и демократические убеждения.

Что касается до социал-демократов, то нашн разногласия с нимн кажутся нам очень иесущественными н лншь теоретичеснми.

Они сводятся к тому, что мы возлагаем больше иадежд на непосредственный переход народного хозяйства в высшую форму и, прндавая большое самостоятельиое зиачение интеллнгенции, считаем необходимым и полезиым иемедлеииое ведеиие политической борьбы с правительством.

На практике же, действуя во имя одних н тех же идеалов, одиими н теми же средствамн, мы убеждены, что всегда будем оставаться их ближайшими товарищамн.

Примечание. Мы не претендуем как на безгрешность выставлеииых в этой программе положеиий, так и на безукоризиенность ее виешней литературной отработки, но мы убеждеиы, что при шнрокой, виепартийной крнтике она

послужит связующим звеном для всех революционных сил, направит эти силы к достижению заветного идеала в дружной и братской работе...»

Решетчатая тень на стене дрогнула, фитилек заморгал, зачадил и чуть было не погас совсем, но Саша вовремя открутил его, и камера снова наполнилась тусклым лампадным светом.

Саша прислонился затылком к холодной стене. Он часто садился теперь так, если нужно было подумать о чем-нибудь очень серьезном и важном. Камень не позволял мыслям залетать в сторону, остужая своим холодом слишком пылкие предположения, возвращал мысли к трезвой реальности.

Итак, террор. Последнее положение программы. Оно должно быть сформулировано предельно точно и ясно.

Нужны самые емкие слова, самые отточенные выражения. Не может быть никакой приблизительности.

«...Являясь террористической фракцией партии, то есть принимая на себя дело террористической борьбы с правительством, мы считаем нужным подробнее обосновать наше убеждение в необходимости и продуктивности такой борьбы...»

«...Историческое развитие русского общества приводит его передовую часть все к более и более усиливающемуся разладу с правительством. Разлад этот происходит от несоответствия политического строя русского государства с прогрессивными, народническими стремлениями лучшей части русского общества. Эта передовая часть растет, совершенствуется и развивает свои идеалы нормального общественного строя, но вместе с этим усиливается и правительственное противодействие, выразившееся в целом ряде мер, имевших целью искоренение прогрессивного движения и завершившееся правительственным террором.

Но жизненное движение не может быть уничтожено, и когда у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности, то она вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, то есть к террору...»

«...Террор есть, таким образом, столкновение правительства с интеллигенцией, у которой отнимается возможность мирного культурного воздействия на общественную жизнь. Правительство игнорирует потребности общественной мысли, но они вполне законны, и интеллигенцию как реальную общественную силу, имеющую свое основание во всей истории своего народа, не может задавить никакой правительственный гнет. Реакция может усиливаться, а с нею и угнетенность большей части общества, но тем сильнее будет проявляться разлад правительства с лучшею и наиболее энергичною частью общества, все неиз-

бежнее будут становиться террористические акты, а правительство будет оказываться в этой борьбе все более и более изолированным. Успех такой борьбы несомненен. Правительство вынуждено будет искать поддержки у общества и уступит его наиболее ясно выраженным требованиям. Такими требованиями мы считаем: свободу мысли, свободу слова и участие народного представительства в управлении страной. Убежденные, что террор всецело вытекает из отсутствия даже такого минимума свободы, мы можем с полной уверенностью утверждать, что он прекратится, если правительство гарантирует выполнение следующих условий:

1. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и передвижений.

2. Созыв представителей от всего народа, выбранных свободно прямой и всеобщей подачей голосов, для пересмотра всех общественных и государственных форм жизни.

3. Полная амнистия по всем государственным преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, а исполнение гражданского долга...»

«...Признавая главное значение террора как средства вынуждения у правительства уступок путем систематической его дезорганизации, мы нисколько не умаляем и других его полезных сторон. Он поднимает революционный дух народа; дает непрерывное доказательство возможности борьбы, подрывая обаяние правительственной силы; он действует сильно пропагандистским образом на массы. Поэтому мы считаем полезной не только террористическую борьбу с центральным правительством, но и местные террористические протесты против административного гнета...»

Голова клонилась к столу, глаза закрывались, перо, не слушаясь руки, скользило по бумаге, выпадало из пальцев.

Он замотал головой из стороны в сторону, потом тряхнул снизу вверх, зажмурил глаза и резко открыл: перед ним расплывались красные, синие, зеленые круги.

Надо дописать. Собрать последние силы и дописать.

«...Ввиду этого строгая централизация террористического дела нам кажется излишней и трудно осуществимой. Сама жизнь будет управлять его ходом и ускорять или замедлять его по мере надобности. Сталкиваясь со стихийной силой народного протеста, правительство тем легче поймет всю неизбежность и законность этого явления, тем скорее сознает оно все свое бессилие и необходимость уступок».

Голова опустилась на стол. Перо выпало из рук.

Он провалился в сон, как в глубокий, бездонный колодец.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

— Александр Ильич, мы внимательно проштудировали вашу рукопись, которой вы дали нанменование... э... э... «Программа террорнстической фракции партни «Народная воля». Я правильно нзлагаю?

— Правильно.

— Вы составлялн ее в настоящнй момент по памяти?

— Да, по памяти.

— Ннкакнми вспомогательными источннкамн не пользовались?

— Разумеется. У меня все было отобрано при обыске.

— Скажнте, Александр Ильич, а в какое время был приготовлен оригинал этой рукописн?

— Программа была принята сразу же после того, как фракция оформнлась организационно.

— А точнее?

— Приблизнтельио во второй половние декабря.

— Восемьдесят пятого года?

— Нет, восемьдесят шестого.

— Я прошу извннеиия, господин ротмистр...

— Пожалуйста, господин прокурор, прошу вас.

— Ульянов, кто первый подал мысль о составленни программы?

— Мысль была общая.

— Ну а все-такн? Чьей рукой былн написаны первые фразы?

— Это не имеет никакого значения.

— Я повторяю свой вопрос: чьей рукой было иачато составление программы?

— А я повторяю свой ответ: на мой взгляд, это не имеет ннкакого принципиального значеиия.

— Меня не ннтересуют ваши взгляды. Я требую точного ответа иа поставленный мной вопрос.

— А меня мало интересуют вашн вопросы, господин прокурор. Какне бы точиые они ни былн.

— Ульянов, вы забываетесь.

— Ничуть.

— Запамятовали степень своей вины перед отечеством?

— Нисколько.

— Запомнnте: я приложу все усилня, чтобы вы получнли по заслугам. Полиостью.

— Не сомневаюсь в вашем особом ко мне расположении.

— Я вам обещаю пеньковый воротник, Ульянов. И я сдержу свое слово.

— Вы очень храбрый человек, господин прокурор. Вам больше подошла бы роль палача. В красной рубахе. И в лакированных сапогах.

— Молчать, мерзавец!

— Господа, господа... Александр Ильич, ну зачем нам ссориться? Ведь можно все выяснить спокойно, мирно...

— Господин ротмистр, я же просил вас, чтобы в дальнейшем меня допрашивали только вы один!

— Это оказалось невозможно. Служба-с.

— Во всяком случае, отвечать на вопросы этого монстра я больше не собираюсь.

— Господин Ульянов, какой вы еще наивный мальчишка!

— Лучше быть наивным мальчишкой, чем законченным негодяем!

— Вы опять начинаете...

— Господа, господа, я прошу вас!.. Александр Ильич, вы напрасно обижаетесь на прокурора...

— Я вовсе не обижаюсь на него. Я просто не могу дышать с ним одним воздухом.

— ...совершенно напрасно. Вы же знаете, в свое время господин Котляревский пережил нервное потрясение. На него покушался Валериан Осинский. Вам, должно быть, рассказывали старшие товарищи?

— Да, рассказывали.

— Ну вот и прекрасно!.. А кто рассказывал-то?

— О чем?

— Да об Осинском.

— Ах об Осинском... А кто такой Осинский?

— Александр Ильич, батенька мой, вы же только сейчас сказали, что вам рассказывали старшие товарищи по партии о покушении Валериана Осинского.

— Впервые слышу об этом от вас.

— Позвольте, но вы же только что подтвердили мое предположение. Это же ваши слова: «Да, рассказывали...»

— Я сказал их по инерции, думая совсем о другом.

— Значит, вы никогда не слыхали такого имени: Валериан Осинский?

— Нет, никогда.

— Организатор «Земли и воли»? Учредитель Исполнительного комитета?

— Нет, не слыхал.

— Александр Ильич, это наивно. Человек, находившийся в революционной среде, не мог не слышать имени Валериана Осинского.

— И тем не менее это так.

— Его еще повесили в Киеве... Извините, конечно, за неуместное напоминание.

— Сделайте одолжение.

— Так-таки и не слыхали? Ни разу?

— Представьте себе, ни разу.

— Странно, очень странно...

— Господин ротмистр, разрешите мне продолжить допрос?

— Прошу вас...

— Ульянов, ну а что же все-таки побудило вас и ваших товарищей взяться за составление программы?

— Я не желаю отвечать вам.

— Давайте мириться, Ульянов. Это в ваших же интересах.

— А я с вами не ссорился.

— Отлично... Так какие же были мотивы? Вы все время ищете случая высказать теоретические взгляды вашей группы. Я предоставляю вам такой случай.

— Хорошо, я отвечу. Ни в одной из существовавших до нашего выступления революционных программ не выставлялось достаточно рельефно главное значение террора как способа вынуждения у правительства уступок. Ни в одной программе не давалось более или менее удовлетворительного объективно-научного объяснения террора как столкновения правительства с интеллигенцией, неизбежного столкновения, так как оно выражает собой разлад, существующий в самой жизни и неминуемо переходящий при известной степени обострения отношений в открытую борьбу...

— Вы не сообщаете ничего нового, Ульянов. Все это уже есть в поданной вами рукописи.

— Я даю точный ответ, господин прокурор, на поставленный вами вопрос.

— Вы сказали, что в старых революционных программах не было достаточного научного объяснения террора... Вы хорошо знаете содержание этих программ?

— Относительно хорошо.

— А как же удавалось знакомиться с ними? Расскажите, если не секрет.

— Секрет, господин прокурор.

— Ну а все-таки? Имели непосредственные связи с авторами или получали через третьи руки?

— И то и другое.

— А подробнее?

— Мне не хотелось бы вмешивать в свое дело людей, не имевших прямого отношеиия к замыслу на жизнь государя.

— Скажите, Ульянов, а тех, кто доставлял вам знакомство со старыми революционными программами, удовлетворила программа, составленная вашей группой?

— В основном — да.

— А в частности?

— Были кое-какие мелкие разногласия.

— Какие же?

— Они касались некоторых организацнонных изменений в постановке террористнческого дела.

— Необходимость террора признавали все старые программы?

— Я не могу ответить на этот вопрос.

— Почему?

— Как член террористической фракцни партии «Народная воля» я могу давать показания только о своей партии, только о своей фракции. Говорить о взглядах других революционных групп я не уполномочен.

— Вы говорили об изменениях в постановке террористического дела... Имелись в виду предполагаемые изменения или уже осуществлеиные?

— Я не считаю удобным обсуждать этот вопрос.

— Почему?

— Об этих изменениях ничего не говорнтся в программе.

— Скажите, Ульянов, а можно считать с ваших слов установленным, что накануне совершения террористического акта над высочайшей особой в революционной среде уже существовала теоретическая платформа для объединения всех антиправительственных сил?

— Можно.

— И инициатива создания этой общей платформы принадлежала вашей группе?

— Мы стремились к этому.

— Вы стремились объединить революционные партии?

— Мы стремились составнть опыт общепартийной программы, которая смогла бы объединить революционные партии.

— А разве прежияя программа «Народной воли» не соответствовала этой задаче?

— Нет.

— Почему?

— Я уже объяснял: по недостатку научных обоснований и неопределенности некоторых своих пунктов.

— Ульянов, только откровенно... Вы рассчитывали, что террористический акт вызовет оживление в революционной среде?

— Безусловно.

— И прямым следствием этого оживления будет объединение всех революционных партий?

— Естественно.

— Но ведь другие партии не разделяли ваших идей о необходимости террора... Или разделяли?

— Мы возвращаемся на старое место, господин прокурор.

— Но вы же ничего не сказали об отношении других партий к террору.

— Я ничего не скажу об этом и сейчас.

— Значит, ваше намерение объединить революционные кружки заранее было обречено на неудачу?

— В опыт общепартийной программы было включено только наше политическое кредо. Террористическая часть была выделена в специальную программу.

— Вы способны запутать кого угодно, Ульянов...

— Наоборот, я стараюсь давать предельно ясные и четкие ответы.

— Ладно, от вас, видно, и в самом деле ничего не добьешься. Государь прав.

— Государь следит за ходом дознания?

— Протоколы всех допросов доставляются Его Величеству каждый день.

— И моего?

— Да, и вашего. Вас огорчило это?

— Наоборот, я польщен.

— Господин прокурор, разрешите мне задать несколько вопросов Александру Ильичу.

— Прошу, ротмистр.

— Александр Ильич, я хотел бы поговорить с вами очень и очень откровенно. Вы не возражаете?

— Нет.

— Дознание подходит к концу — очевидно, это наша последняя встреча с вами. Мы и так слишком затянули ваши допросы. Но мы все время преследовали, если вы заметили, одну и ту же цель.

— Я заметил это.

— Я попытаюсь сформулировать ее в таких выражениях, которые не оставили бы никаких кривотолков.

— Попробуйте.

— Видите ли, Александр Ильич, сравнивая вашу историю с предыдущим делом о цареубийстве (с делом Желябова, напри-

мер), нельзя не обратить внимания на некоторые странности. Прежняя «Народная воля» была действительно партией — с десятками членов, с оружием, типографиями, огромными средствами... Ваша группа выглядит, мягко говоря, менее значительной. Всего полтора десятка активных членов, три бомбы, один револьвер, случайное гектографирование. Но тем не менее называете вы себя фракцией целой партии. Здесь можно предположить два варианта: или вы переоцениваете, завышаете роль своей группы, совершенно необоснованно называя ее фракцией целой партии, или мы имеем дело пока еще только с незначительной ее частью...

— Господин ротмистр, я не подозревал о вашей склонности к анализу...

— Не перебивайте меня... Так вот, государь и все наблюдающие за дознанием лица склонны предполагать, что ваша фракция, сплошь состоящая, кстати сказать, из студентов, не является самостоятельной, а тесно связана со старым народовольческим подпольем и действовала под его непосредственным руководством.

— Я еще раз польщен.

— Как вы могли заметить, в течение всего дознания мы с прокурором делали неоднократные попытки подвести вас к разговору об этой связи и облегчить вам начало этого разговора. Собственно говоря, в этом и заключалась та цель, о которой я говорил.

— Я так и понял вас.

— Надо отдать вам должное, Александр Ильич, каждый раз вы весьма ловко уходили от этого разговора. Хотя в общем-то, щадя ваше самолюбие, мы не предлагали вам открыто изменять своим убеждениям. Мы были деликатны. Мы предлагали вам как бы обмолвиться. Случайно. Вы не оценили этих скрытых возможностей. Теперь уж позвольте действовать прямо, в открытую.

— Я не понимаю, о чем идет речь.

— Сейчас поймете. Вы не забыли, что в Симбирске у вас есть два брата?

— Нет, не забыл.

— Мать-вдова, сестры?

— Чего вы хотите?

— Я хочу предложить вам честную сделку. Вы открываете нам связи вашей группы с представителями старой «Народной воли»...

— И взамен?

— Получаете надежные гараитни иезависимостн вашей семьи от вашего дела.

— Странно...

— Что страино?

— Я считал вас более тонким психологом, господин ротмистр.

— В чем же мой просчет как психолога?

— Во-первых, ие существует таких гарантий, которые могли бы дать мне хотя бы мниимальио иадежиое основаиие для принятия вашего предложения.

— Почему?

— Потому что в отношеиии меня вы можете иарушить любые гарантии.

— Царское слово?

— Оно ие обладает юриднческой силой.

— Специальное постановление правительствующего сената?

— Узинк бесправеи перед законом. Даже самым высоким.

— Так... Ну а во-вторых?

— Во-вторых, еслн бы у нашей группы действнтельно были связи со старой «Народной волей», то вам было бы уже известно об этом нз показаний Канчера, Горкуна нлн Волохова. И, ставя этот вопрос передо мной, вы обязательио далн бы мне поиять, что ответ на иего вам частично уже известен. Логично?

— Канчер и Горкуи могли и ие знать...

— Ротмнстр, извнните, я перебью вас... Ульянов, а вам ие жаль уносить с собой в могилу ваши способностн почтн нераскрытымн? Ведь у вас, черт возьми, действительно есть очень большне наклонности к логическому размышлеиию! И вы могли бы употребить нх в гораздо более серьезном н полезном для отечества деле, чем этот легкомыслеиный мальчишеский заговор.

— Господни прокурор, в моей жнзнн ие было ничего более серьезиого и полезиого для отечества, чем участие вместе с моими товарищами в деле, которое вы нзволили определнть как мальчншескнй заговор.

— Ложная солидарность, Ульянов. Ложиые представлеиия о пользе отечеству. Онн простительны гнмназнсту, но не вам.

— Что поделаешь. Мы с вами по-разному — очевидно, в соответствии с разницей в возрасте — поиимаем иужды отечества.

— Прнскорбио, очеиь прискорбио. Мие искреиие хотелось отделить вас от всех других участинков этой истории. Вы же на голову выше их по интеллекту.

— Моя участь решена, господин прокурор. Я выбрал свою судьбу. Изменить ее не сможет ничто.

— Жалко, очень жалко расставаться с вами, не обратив ваши способности на путь истины и разума. Вы хороните, Ульянов, в себе личность, в которых весьма нуждается Россия.

— Это лицемерные слова. Вы же только что обещали мне пеньковый воротник.

— От обещания до исполнения дистанция огромного размера. Все может измениться.

— Если?

— Если вы внемлете голосу разума.

— Связи со старой «Народной волей»?

— Да.

— Это становится смешным. Пора кончать эту комедию.

— Вы поняли меня?

— . . . .

— Я повторяю: вы поняли меня?

— . . . .

— Это ваш последний шанс, Ульянов.

— . . . .

— Александр Ильич, может быть, вы хотите вообще что-нибудь добавить к сегодняшнему протоколу? Не касаясь вопроса прокурора, а?

— Это действительно мой последний допрос?

— По всей вероятности, да. Государь торопит дело к слушанию в сенате.

— Тогда пишите... В заключение я хотел бы более точно определить мое участие во всем настоящем деле. Если в одном из прежних показаний я выразился в том смысле, что не был инициатором и организатором замысла на жизнь государя, то только потому, что в этом деле не было одного определенного инициатора и руководителя. Но мне одному из первых принадлежит мысль образовать террористическую группу. Я принимал самое деятельное участие в ее организации в смысле доставания денег, подыскания людей и квартир... Что же касается моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, то есть все то, которое дозволяли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений. Все.

— Больше ничего не хотите добавить?

— Ничего.

— Ни одного слова?

— Ни одного.

II

28 марта 1887 года вдова действительного статского советника Ильи Николаевича Ульянова и мать заключенного в Петропавловской крепости государственного преступника Александра Ульянова Мария Александровна Ульянова написала письмо Александру III. Вот его текст.

«Горе и отчаяние матери дают мне смелость прибегнуть к Вашему Величеству, как единственной защите и помощи.

Милости, государь, прошу! Пощады и милости для детей моих.

Старший сын, Александр, окончивший гимназию с золотой медалью, получил золотую медаль и в университете. Дочь моя, Анна, успешно училась на Петербургских высших женских курсах. И вот, когда оставалось всего лишь месяца два до окончания ими полного курса учения, у меня вдруг не стало старшего сына и дочери...

Слез нет, чтобы выплакать горе. Слов нет, чтобы описать весь ужас моего положения.

Я видела дочь, говорила с нею. Я слишком хорошо знаю детей своих и из личных свиданий с дочерью убедилась в полной ее невиновности. Да, наконец, и директор департамента полиции еще 16 марта объявил мне, что дочь моя не скомпрометирована, так что тогда же предполагалось полное освобождение ее. Но затем мне объявили, что для более полного следствия дочь моя не может быть освобождена и отдана мне на поруки, о чем я просила ввиду крайне слабого ее здоровья и убийственно вредного влияния на нее заключения в физическом и моральном отношении.

О сыне я ничего не знаю. Мне объявили, что он содержится в крепости, отказали в свидании с ним и сказали, что я должна считать его совершенно погибшим для себя. Он был всегда глубоко предан интересам семьи и часто писал мне. Около года тому назад умер мой муж, бывший директором народных училищ Симбирской губернии. На моих руках осталось шесть человек детей, в том числе четверо малолетних. Это несчастие, совершенно неожиданно обрушившееся на мою седую голову, могло бы окончательно сразить меня, если б не та нравственная поддержка, которую я нашла в старшем сыне, обещавшем мне всяческую помощь и понимавшем критическое положение семьи без поддержки с его стороны.

Он был увлечен наукой до такой степени, что ради кабинетных занятий пренебрегал всякими развлечениями. В университете он был на лучшем счету. Золотая медаль открывала

ему дорогу на профессорскую кафедру, и нынешний учебный год он усиленно работал в зоологическом кабинете университета, подготовляя магистерскую диссертацию, чтобы скорее выйти на самостоятельный путь и быть опорой семьи.

О, государь! Умоляю — пощадите детей моих! Нет сил перенести этого горя, и нет на свете горя такого лютого и жестокого, как мое горе! Сжальтесь над моей несчастной старостью! Возвратите мне детей моих!

Если у сына моего случайно отуманился рассудок и чувство, если в его душу закрались преступные замыслы, государь, я исправлю его: я вновь воскрешу в душе его те лучшие человеческие чувства и побуждения, которыми он так недавно еще жил!

Я свято верю в силу материнской любви и сыновней его преданности и ни минуты не сомневаюсь, что я в состоянии сделать из моего несовершеннолетнего еще сына честного члена русской семьи.

Милости, государь, прошу милости!..

Мария Ульянова.

28 марта 1887 года.
С.-Петербург.
(Васильевский остров,
Срединий пр., д. 32, кв. 5.)»

Спустя всего лишь два дня, в понедельник, 30 марта, на этом прошении появится резолюция Александра III: «Мне кажется желательным дать ей свидание с сыном, чтобы она убедилась, что это за личность — ее милейший сынок, и показать ей показания ее сына, чтобы она видела, каких он убеждений».

В тот же день прошение М. А. Ульяновой с царской резолюцией доставляют министру внутренних дел графу Толстому.

И уже через тридцать минут вместе с сопроводительной запиской министра оно лежит на столе директора департамента полиции Дурново, который делает в журнале приема посетителей следующее распоряжение: «Вызвать ко мне г-жу Ульянову завтра, к двенадцати часам».

А 31 марта — Сашин день рождения...

31 марта 1887 года заключенному в камере № 47 Трубецкого бастиона Петропавловской крепости государственному преступнику Александру Ульянову исполнится двадцать один год.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Сопроводительная записка, которую министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой отправил 30 марта 1887 года директору департамента полиции Дурново вместе с прошением М. А. Ульяновой и резолюцией Александра III, имела следующее содержание:

«Нельзя ли воспользоваться разрешенным государем Ульяновой свиданием с сыном, чтобы она уговорила его дать откровенное показание, в особенности о том, кто, кроме студентов, устроил все это дело. Мне кажется, это могло бы удаться, если б подействовать поискуснее на мать».

Подписи на записке не было.

Тридцать первого марта после разговора с Марией Александровной в департаменте полиции Дурново послал коменданту Петропавловской крепости Ганецкому секретное предписание, в котором, в частности, говорилось «о дозволении госпоже Ульяновой иметь в среду 1 апреля свидание с сыном в течение двух часов от 10 до 12 дня... не за решеткой, а в отдельном помещении, но в присутствии лица, заведующего тюремным помещением...».

Комендант крепости Ганецкий собственноручно пометил секретное отношение лаконичной фразой: «Исполнено 1 апреля 1887 года в указанное время».

От центрального входа до ворот Трубецкого бастиона Марию Александровну сопровождал дежурный офицер: такое случалось не часто, чтобы содержащемуся в крепости предоставлялось свидание в самой крепости. Дежурный офицер преисполнен был настороженности и внимания. Седая дама (Марии Александровне месяц назад исполнилось пятьдесят два года) не выказывала, правда, никаких подозрительных намерений, но кто ее знает...

Они прошли мимо полосатой будки, под низкими сводчатыми воротами, мимо еще одной полосатой будки (лица у часовых были сонные, пухлые, а глаза быстрые, цепкие), поднялись на второй этаж и оказались в унылой, сумрачной комнате с характерным тюремным запахом — смеси хлорки и керосина. Тюремный чин, в присутствии которого, очевидно, должно было происходить свидание, принял посетительницу от офицера наружной охраны, как говорится, с рук на руки и, отворив дверь во внутренние помещения, крикнул кому-то невидимому:

— Сорок седьмого — ко мне! Живо!

Дежурный офицер ушел.

«Сорок седьмой, — повторила про себя Мария Александровна. — Здесь им отказано даже в имени».

Неожиданно она поймала себя на мысли, что чувствует себя очень спокойно и даже как бы безразлично: невозмутимо оглядывает стены, окно, немудреную обстановку — грубый деревянный стол, несколько стульев, длинную лавку вдоль стены.

Тюремный чин (официальный свидетель предстоящего свидания) сидел около стола на табуретке, положив одну руку сверху на стол. У него, как и у часовых в будках, был землистый, болезненный цвет лица, какой бывает у людей, редко выходящих на улицу, но колючие, проворные бусинки глаз, казалось, жили совершенно независимой от хозяина жизнью — смотрели энергично и пристально.

Потом, спустя несколько мгновений после ухода офицера, Мария Александровна поняла, что испытываемое ею спокойствие вовсе не безразличие. Была просто усталость — смертельная человеческая усталость, которая наступает у путника, долго блуждавшего в пустынных лабиринтах некоего огромного строения, воздвигнутого по законам, о которых он, путник, не имеет ни малейшего представления... И вот цель достигнута, но не осталось сил, чтобы понять это — то, что цель достигнута, не говоря уже ни о чем другом.

Звякнул дверной засов. Мария Александровна подняла голову. Саша стоял перед ней всего в нескольких шагах.

Они оба долго ждали этой минуты, и когда она пришла — растерялись, замерли, сжались и внутренне и внешне, оказались неподготовленными к встрече и будто бы окаменели под пристальным взглядом тюремного чиновника, энергичные бусинки глаз которого торопливо перебегали с матери на сына и обратно.

— Здравствуй, мама, — тихо сказал наконец Саша.

— Здравствуй, Саша, — так же тихо ответила Мария Александровна.

Он сделал шаг вперед и вдруг, не выдержав нервного напряжения, бросился к ней, опустился на пол, уткнулся лицом ей в колени и весь задергался в беззвучных конвульсиях рыданий, сотрясаясь спиной, руками, головой и всем телом от своего безысходного, ни с чем не сравнимого отчаяния.

Мария Александровна прижала голову сына к коленям, обхватила ее руками и, не пытаясь больше удерживать слез, потоком хлынувших по ее щекам, уронила лицо на худую, вздрагивающую Сашину шею.

Тюремный чиновник отвернулся.

Ощутив около себя сына, его руки, плечи, голову, шею, спину, Мария Александровна вдруг почувствовала необычный прилив сил. Огромная, не поддающаяся никакому измерению волна чувств накрыла ее сердце. Дрожащими руками она гладила Сашину голову, целовала его волосы, затылок, уши. Она понимала, что в ее лихорадочных движениях нет сейчас ничего такого, что помогло бы в дальнейшем сыну легче перенести его тяжелую участь, но тем не менее ничего не могла с собой сделать. Забыв совершенно обо всем, она была сейчас только матерью, только женщиной, родившей этого рыдающего у нее на коленях человека, выкормившей этого человека грудью, научившей его ходить, пить, есть, различать окружающие предметы и вот теперь знающей и понимающей, что на эту тонкую, худую шею может быть очень даже скоро палач накинет намыленную петлю, и тогда все ее силы, все ее заботы, вся ее великая материнская работа, потраченная на рождение и воспитание этого человека, окажется напрасной, проделанной впустую, и что ей, конечно, будет не пережить этой жестокой несправедливости природы, когда она, мать, останется жить, а ее дитя, рожденное ею для жизни и счастья, уйдет из жизни раньше ее и всего лишь в двадцать один год ото дня своего рождения.

— Прости, мамочка, прости меня, прости, моя милая, хорошая, — рыдал Саша, — я причинил тебе столько боли, столько страданий, прости меня, прости...

— Сашенька, Сашенька, мальчик мой, ну что же ты наделал с собой, ну почему же все так получилось, почему столько несчастий обрушилось сразу на наш дом, на нашу семью?..

— Мамочка, милая, я не хотел огорчать тебя. — плакал Саша, — я не хотел быть причиной твоих несчастий, но я не мог поступить иначе, понимаешь — не мог...

— Я не верила, Саша, не верила, что ты можешь оказаться способным на такое... Ведь это ужасно...

— Мамочка, ты должна понять... Есть долг перед родиной, перед обществом, перед будущим...

— Сашенька, милый, я понимаю, но ведь есть же семья, дом, младшие братья и сестры, и папы нет уже с нами, я так надеялась на тебя, на твою помощь, и вдруг это известие...

— Мамочка, милая, моя вина перед вами неискупима, но я не мог не бороться за то, за что боролись мои товарищи рядом со мной...

— Сашенька, милый, но ведь средства этой борьбы так ужасны...

— Что же делать, если других нет...

— Господа, господа, — кашлянул тюремный чин, — вы нарушаете...

— Что же мы нарушаем? — подняла мокрое, заплаканное лицо Мария Александровна.

— На подобные темы разговаривать запрещается. В случае повторения я вынужден буду прервать свидание.

— О чем же мы можем говорить? — с горечью спросила Мария Александровна.

— О семье, о домашних делах, например. Это можете сколько угодно. Сколько душа пожелает.

— Мамочка, как Володя, как Митя? — не поднимая головы, спросил Саша, вытирая рукой слезы со щек.

— Все хорошо, Сашенька, все в порядке...

— Как их занятия? На них повлияло, конечно... Я понимаю...

— Митя хандрит, как всегда, а Володя идет хорошо — сплошные пятерки...

— Он молодец. Очень хорошие данные. Но слишком эмоционален, вспыльчив... Это будет мешать в серьезных занятиях...

— Я думаю, что он выправится...

— А Оля, Маняша?

— Оля переживает, Маняша слишком мала...

— Мама, ты видела Аню? Почему ее до сих пор не освободили? Она же совершенно ни в чем не виновата, ни в чем не замешана...

— Господа, господа...

— Ее скоро должны выпустить, Сашенька. Я писала на высочайшее имя...

— Господа, господа...

— Какой смысл держать в тюрьме невинного человека? Это же нелогично, противоестественно...

— Господа, я делаю вам предупреждение...

— Аня передавала тебе привет. У нее все в порядке. Чувствует она себя хорошо...

— Господа, второе предупреждение...

— Мамочка, когда увидишь Аню, скажи, что я виноват перед ней, но тогда я ничего уже не мог изменить...

— Третье предупреждение...

— Передам, Сашенька, обязательно передам...

— Господа, свидание окончено!

— Прости меня, мамочка, прости...

— Конвой! Сорок седьмого назад в камеру!

— Мужайся, сынок, я хлопочу за тебя, будь сильным, мужайся...

— Госпожа Ульянова, пожалуйте на выход...

— Спасибо, мамочка, спасибо, милая, родная...

— Конвой!.. Вы что там, спите?

— Держись, Сашенька, я все время думаю о тебе. Я с тобой. Мы все с тобой...

II

Дверь загремела, лязгнул засов. Вошел дежурный офицер, за ним — надзиратель и двое солдат с примкнутыми штыками.

— Встать, — протяжно и словно бы нехотя сказал офицер и сонно посмотрел на Сашу. — Для вручения обвинительного заключения вам надлежит следовать за мной.

Один солдат встал впереди, второй — сзади. Офицер одним глазом оглядел Сашу, поправил воротник его арестантского халата, повернулся к надзирателю.

— Дайте ему гребенку, пусть причешется.

Саша провел несколько раз гребенкой по коротким волосам, вернул ее надзирателю.

— На выход, — скомандовал офицер все тем же ленивым и вялым голосом.

На этот раз пошли совсем не в ту сторону, куда обычно водили на допросы. Несколько раз надзиратель, гремя огромной связкой ключей, открывал и закрывал массивные двери. Солдаты и офицер, пока тюремщик возился с замками, со скучающим, безразличным видом стояли рядом. «И как ему только удается так быстро находить нужные ключи? — думал Саша, наблюдая за ловкими движениями надзирателя. — Ведь это тоже призвание нужно иметь, чтобы добровольно заточить себя на много лет в этот мрачный могильник. Впрочем, сюда, в главную тюрьму России, по всей вероятности, подбирают особых людей, «специалистов». Сюда просто так не попадешь».

Вошли в низкое темное помещение. Солдаты, сделав полуоборот, отошли в сторону. Из-за длинного стола, покрытого зеленой в чернильных пятнах скатертью, поднялось несколько человек: ротмистр Лютов, Котляревский, комендант крепости Ганецкий и еще двое незнакомых в черно-зеленых вицмундирах чиновников Правительствующего Сената. Один из незнакомцев, по виду самый моложавый, с глубокой вертикальной складкой между бровями и пристальным взглядом решительных, очевидно,

не знающих колебаний глаз взял со стола гербовую бумагу с двуглавым орлом наверху, внимательно посмотрел на Сашу.

— Ваша фамилия?

— Ульянов.

— Имя?

— Александр.

— Отчество?

— Ильич.

— Год рождения?

— 1866-й.

— Место рождения?

— Нижний Новгород.

— Имеете ли претензии по содержанию в подследственный период?

— Нет, не имею.

— Хотели бы что-либо добавить к материалам следствия?

— Нет.

— Чувствуете себя в настоящий момент физически здоровым? Жалоб нет?

— Жалоб нет.

Моложавый чиновник выгнул плечи, чуть запрокинул назад голову.

— Согласно Высочайшему Повелению, — громко начал он, вкладывая в свои слова особо торжественный смысл, — последовавшему двадцать восьмого марта сего года, а также на основании второго пункта тысяча тридцатой статьи устава уголовного судопроизводства издания 1883 года сын действительного статского советника Ульянов Александр Ильич предается суду Особого Присутствия Правительствующего Сената с участием сословных представителей.

Чиновник вложил гербовую бумагу в лежавшую на столе коленкоровую папку, взял папку в руки.

— Подсудимый Ульянов, в ходе предварительного следствия вы отказались от предоставляемых вам законом услуг профессиональной защиты. В связи с этим первоприсутствующий по вашему делу сенатор Дейер предложил мне, обер-прокурору сената Неклюдову, в присутствии лиц, для этой цели им уполномоченных, вручить вам все материалы вашего дела, а также обвинительное заключение по делу, составленное на основании документов следствия и дознания... В процессе судебного разбирательства с разрешения господина первоприсутствующего вам предоставляется право на самостоятельную защиту.

Он протянул папку.

Саша молча взял дело.

Ротмистр Лютов, Котляревский, комендант и второй чиновник опустились на стулья. Неклюдов вышел из-за стола, вплотную подошел к Саше.

— В свое время, — медленно заговорил он, — я был учеником вашего отца. Весьма сожалею, что довелось встретиться с сыном Ильи Николаевича при столь прискорбных обстоятельствах. Папенька ваш был образцом выполнения долга перед обществом и отечеством. Видимо, пример его не пошел вам на пользу.

Глаза у обер-прокурора были жесткие, непроницаемые, напористые. «Моралист, — подумал Саша, — праведник в аксельбантах».

Неожиданно странное, незнакомое чувство бешено полыхнуло в нем, и он с радостным облегчением ощутил, как распрямляется внутри пружина, сдерживаемая до сих пор с таким трудом.

— Здесь не место для разговоров о пользе отечеству, — зло сказал Саша и посмотрел на Неклюдова с такой ненавистью, что у того невольно прищурились глаза. — Потрудитесь выполнять свои обязанности без нравоучений.

Обер-прокурор не отводил взгляда. В зрачках его загорались зеленые огоньки гончей, почуявшей долгий и в общем-то не трудный, но сладостный гон уже подраненной дичи.

— Ах, вот вы какой!.. — задумчиво проговорил Неклюдов и смерил Сашу с ног до головы своими внезапно побелевшими глазами. — Ну что ж, я рад, что предварительная характеристика, данная вам людьми, знающими вас лучше, чем я, подтверждается. Очень рад.

Он вернулся на свое место, кивнул дежурному офицеру. Тот сделал знак солдатам, и они с быстротой давно привыкшего к своим обязанностям механизма почти одновременно встали около Саши — один сзади, другой спереди.

— На выход, — ленивым и безразличным голосом скомандовал офицер.

Уходя, Саша успел поймать взглядом лицо ротмистра Лютова. Ротмистр неодобрительно покачивал головой, явно порицая легкомысленную выходку подсудимого Ульянова в адрес обер-прокурора Неклюдова.

III

Вернувшись в камеру, Саша отодвинул в сторону оловянную миску с остывшей едой и жадно раскрыл первую страницу дела. Ему не терпелось поскорее узнать, какие же материалы, кроме

показаний Канчера и Горкуна, легли в основу обвинительного заключения.

«По указу его императорского величества, — читал он, — предаются суду Особого Присутствия Правительствующего Сената с участием сословных представителей поименованные ниже лица, бывшие студенты Санкт-Петербургского университета:

1) казак Потемкинской станицы области Войска Донского Василий Денисьев Генералов — двадцати лет;

2) государственный крестьянин станицы Медведовской Кубанской области Пахомий Иванов Андреюшкин — двадцати одного года;

3) мещанин города Томска Василий Степанов Осипанов — двадцати шести лет;

4) сын надворного советника Михаил Никитин Канчер — двадцати одного года;

5) дворянин Полтавской губернии Петр Степанов Горкун — двадцати лет;

6) купеческий сын Петр Яковлев Шевырев — двадцати трех лет;

7) сын действительного статского советника Александр Ильин Ульянов — двадцати одного года;

8) дворянин Бронислав Иосифов Пилсудский — двадцати лет;

9) дворянин Иосиф Дементьев Лукашевич — двадцати трех лет;

а также:

10) лохвицкий мещанин Степан Александров Волохов — двадцати одного года;

11) дворянин, аптекарский ученик Тит Ильин Пашковский — двадцати семи лет;

12) сын псаломщика, бывший кандидат С.-Петербургской духовной академии Михаил Васильев Новорусский — двадцати шести лет;

13) крестьянка, акушерка Мария Александрова Ананьина — тридцати восьми лет;

14) херсонская мещанка, акушерка Ревекка (Раиса) Абрамова Шмидова — двадцати двух лет;

которые обвиняются в том, что, принадлежа к преступному сообществу, именующему себя террористической фракцией партии «Народная воля», и действуя для достижения его целей, согласились между собой посягнуть на жизнь священной особы государя императора и для приведения сего злоумышления в исполнение изготовили разрывные метательные снаряды, вооружившись которыми, некоторые из соучастников с целью бросить означенные снаряды под экипаж государя императора, неоднократно

выходили на Невский проспект, где, не успев привести злодеяние в исполнение, были задержаны чинами полиции 1 марта сего 1887 года;

а также обвиняется екатеринодарская мещанка, народная учительница Анна Андриановна Сердюкова, двадцати семи лет, в том, что, узнав о задуманном посягательстве на жизнь священной особы государя императора от одного из участников злоумышления и имея возможность заблаговременно довести о сем до сведения властей, не исполнила этой обязанности.

Означенные преступления предусмотрены 241 и 243 статьями Уложения о наказаниях.

На дознании и предварительном следствии собранными посредством обысков и осмотров материалами, письменными доказательствами, показаниями свидетелей, оговором самих подсудимых, согласным с обстоятельствами дела, и отчасти признанием некоторых подсудимых у с т а н о в л е н о:

1. Подсудимый Шевырев 20 ноября 1886 года принес на сходку студентов С.-Петербургского университета по поводу беспорядков 17 ноября 1886 года на Волковом кладбище гектографированное воззвание «17 ноября в Петербурге», от которого и возникла угроза правительству террористическим актом. На вышеозначенной сходке 20 ноября 1886 года впервые были сформулированы террористические цели преступного сообщества, присвоившего себе впоследствии наименование террористической фракции партии «Народная воля». Как показывают материалы дела — признания некоторой части подсудимых и т. д., — автором прокламации «17 ноября в Петербурге» явился бывший в то время студентом естественного факультета С.-Петербургского университета сын действительного статского советника дворянин Симбирской губернии Александр Ульянов...»

Саша поднял голову, прищурился. Так вот откуда начинает господин Неклюдов! Котляревский и Лютов, выполняя, очевидно, прямой приказ самого царя, добивались только одного: выяснить опасность повторного покушения и по возможности предотвратить его. Значит, поединок с отдельного корпуса жандармов ротмистром Лютовым и товарищем прокурора Петербургской судебной палаты Котляревским был поединком с самим царем, с Императором и Самодержцем Всея Руси Александром III Александровичем. Так, так... значит, все эти дни, пока Лютов и Котляревский, торгуя судьбой его, Сашиных братьев в Симбирске, пытались выяснить, для кого предназначалась запасная бутыль нитроглицерина, посланная в Парголово на дачу Ананьиной, Александр III находился в постоянном страхе, что эта запасная

бутыль нитроглицерина окажется под его кроватью в Гатчине в виде динамитного снаряда? Ну что ж, это не так уж плохо — продержать государя императора две недели в состоянии страха за свою августейшую жизнь.

Лютов и Котляревский тогда ничего не добились. Успокоить царя, дать точный ответ, что повторного покушения не будет, они не смогли. Господин Неклюдов, уяснив это поражение предварительного следствия, пытается пойти по другому пути. Он хочет нарисовать перед судом более широкую картину заговора, выявить его истоки и корни, дать, так сказать, анализ причин возникновения самого факта террористической угрозы.

Ну что ж, это хорошая зацепка для того, чтобы на суде перевести разговор с мелких и частных технических деталей выполнения покушения на общественные мотивы цареубийства. На этом пути господина Неклюдова следует поддержать. Это будет лишним доказательством социального, а не уголовного направления их организации.

Итак, действительно, с чего все начиналось? Каковы были фактические причины рождения фракции?.. Надо обязательно вспомнить все подробности, чтобы показать на суде, что идеи покушения были не придуманы, не взяты с потолка, а рождены самой жизнью, что взяться за бомбы их вынудило само правительство и те невыносимые условия общественной русской жизни, которые создало это правительство.

Саша отодвинул папку с делом, закрыл глаза. В памяти замелькали разрозненные картины событий того дня, 17 ноября, на Волковом кладбище. Он отчетливо увидел серую шеренгу полицейских перед решеткой кладбища, взмыленные морды казачьих лошадей, сочувственные лица в толпе горожан и, наконец, тех, кем были вызваны все эти события — большую группу студентов и слушательниц высших женских курсов, пришедших на Волково кладбище, чтобы отслужить панихиду в память о двадцатилетии со дня смерти Добролюбова...

Нет, господин обер-прокурор, пожалуй, истоки и корни начинаются еще не здесь, а гораздо раньше. Несмотря на всю вашу проницательность и опытность в подобных делах, вы не знаете и не можете знать истинных причин возникновения революционных настроений в среде петербургского студенчества. Вряд ли вашему чиновничьему воображению и соображению доступна картина, а тем более широкая, рождения чувства социального протеста в образованной части русского общества, в ее наиболее критически мыслящих кругах...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Высокий гулкий зал.

Мраморная колоннада.

Фронтоны.

Портики.

Фигурные окна. Лепные карнизы.

Сводчатые потолки.

Люстры.

Бра.

Барельефы. Настенные росписи, изображающие равенство всех перед судом, а суда — перед законом.

Суд. Особое Присутствие Правительствующего Сената. Высшая судебная инстанция Империи. Лучшая зала для правосудия в Санкт-Петербурге. Самое величественное помещение.

Античность. Готика. Классицизм. Торжество геометрии и искусства. Смешение стилей: сурового, мужественного — дорического, стройного, изящного — ионического, просветленного — коринфского с элементами эллинизма.

И Справедливая Женщина с завязанными глазами — Фемида. Богиня правосудия. Молодая, полногрудая древнегреческая дама. Стоит в высокой белой нише с чашами весов в руках. Кроткая, мудрая, женственная.

А по обеим сторонам кроткой богини — двое городовых. Судебные приставы. Усы — вразлет, бороды — настежь. Ремни, портупея. Густая завеса крестов и медалей поперек мундиров. Тяжелые рукоятки шашек — палашей. В глазах — обязательная готовность умереть за портрет напротив.

А портрет напротив — не просто портрет. Такой величины портретов не бывает. Два с половиной метра в ширину, восемь — в высоту. Парус, а не портрет.

И человек, изображенный на парусе во весь рост, — не просто человек, а...

...Мы, Александр Третий,
Император и Самодержец
Всероссийский,
Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский;
Царь Казанский,
Царь Астраханский,
Царь Польский,
Царь Сибирский,

Царь Грузинский,
Царь Херсонеса Таврического,
Государь Псковский и Великий Князь Смоленский,
Литовский,
Волынский,
Подольский и Финляндский;
Князь Эстляндский,
Лифляндский,
Курляндский и Семигальский,
Самогитский,
Белостокский,
Карельский,
Тверский,
Югорский,
Пермский,
Вятский и иные низовские земли Повелитель;
Кабардинские земли и Армянские области Обладатель,
Черкасских и иных Горских Князей Наследный Государь;
Наследник Норвежский,
Герцог Шлезвиг-Голштинский и Ольденбургский,
и прочая,
и прочая,
и прочая...

Вот кто изображен во весь рост на двадцати квадратных метрах парусной холстины.

Александр Александрович Романов, по прозвищу «мопс».

Семейный человек.

Отец пятерых детей.

В любимом преображенском мундире.

С лентой ордена Андрея Первозванного через плечо.

В сапогах.

— Подсудимый Ульянов, подойти ближе к барьеру.

Саша шагнул вперед, твердо взглянул в публику. Все те же лица: генералы, чиновники, сановные дамы. Несколько физиономий неопределенного вида. И мама... В самом последнем ряду, с краю, возле прохода.

— Подсудимый Ульянов, — голос Дейера звучал под сводами высокого зала торжественно и строго, — вы признаете себя виновным по существу предъявленных вам обвинений?

— Я признаю себя виновным по существу предъявленных мне обвинений.

Черная наколка на белой маминой голове дрогнула и наклонилась.

Первоприсутствующий устроился поудобнее в кресле, переложил на столе перед собой бумаги с места на место.

— Вы были в Петербургском университете? — голос Дейера звучал теперь уже менее строго и даже несколько снисходительно.

— Да, я был в Петербургском университете.

— Уже на четвертом курсе?

— На четвертом курсе.

— Несмотря на ваши молодые годы?

— Да, я был на четвертом курсе.

— Вы кончили курс в Симбирской гимназии?

— Да, в Симбирской гимназии.

— Ваши братья в настоящее время тоже обучаются в Симбирской гимназии?

— Да, они обучаются в той же гимназии.

— Имеете матушку?

— Да, у меня есть мать, — неожиданно громко даже для самого себя и почти вызывающе заговорил он, и зал, и все члены суда, привлеченные этой необычной интонацией, с шумом повернулись теперь уже в его сторону. — Да, у меня есть мать, — продолжал Саша, — вдова действительного статского советника Ильи Николаевича Ульянова, бывшего директора народных училищ Симбирской губернии, Мария Александровна Ульянова.

Пауза разлилась по залу внезапной тишиной. Только усато сопели около незрячей Фемиды мамонтообразные судебные приставы.

Первым нарушил тишину Дейер. Погладив пальцами подбородок, он снова переложил бумаги на столе перед собой с одного места на другое, взглянул на Сашу, прищурился.

— Скажите, подсудимый, в гимназии вы содержали себя на свои средства?

— Нет, в гимназии я содержался на средства отца.

— А в университете?

— Тоже... Впрочем, одно время я имел урок, который давал мне некоторые средства, но это длилось недолго.

— Значит, и в гимназии, и в университете вы содержались на средства своих родителей?

— Да.

— У вас большое семейство?

— Семеро.

Дейер удовлетворенно, как будто он выявил только что такие факты, о существовании которых до этой минуты никому ничего не было известно, откинулся на спинку кресла.

Сидевший справа от него подслеповатый сенатор Ягн, испро-

сив предварительно у председательствующего разрешения, вопросительно направил на Сашу лорнетку.

— Значит, в Петербурге, Ульянов, вы уже четыре года?

— Да, я уже четыре года в Петербурге.

— И что же, все эти четыре года старались навербовать себе сообщников? Или все-таки первые годы провели в учении?

Голос у Ягна был старческий, въедливый, дребезжащий.

— Все четыре года, проведенные в Петербурге, я занимался теми науками, для которых поступил в университет. Свидетельства о моем участии в занятиях, скрепленные ведущими профессорами естественного факультета, вы легко обнаружите в материалах дела, господин сенатор.

— Все ваши профессора, несмотря на оказанную им высокую честь воспитания юношества, такие же нигилисты, как и студенты! Все до одного!

— Что же касается до вербования сообщников, — продолжал Саша, не обращая внимания на гневную филиппику расшитого золотом старца, — то я этого не делал и в последнее время.

— Все, все до единого! До единого!

Ягн бросил на стол лорнетку и обиженно замолчал.

— У вас больше нет вопросов? — Дейер наклонился к самому уху Ягна.

— У меня есть вопросы.

Сенатор Окулов — плотный, с седым бобриком коротко остриженных волос, с вислыми щеками — сверлил Сашу злыми, пронзительными маленькими черными глазами.

— Объясните суду, Ульянов, как вы попали в кружок? Кто был посредником?

— В этом деле не было никаких посредников, господин сенатор.

— Каким же образом сделалось ваше знакомство со злоумышленниками?

— Я сам сходился с людьми.

— С кем именно?

— С Генераловым, Андреюшкиным, Лукашевичем, Говорухиным...

— Пилсудского и Пашковского знали?

— С Пилсудским я познакомился только по поводу печатания программы. Пашковского я не знал совсем.

— А с Шевыревым и Говорухиным давно были знакомы?

— С прошлого года.

— Вы знали, где живет Говорухин?

— Знал.

— Часто бывали у него?

— Часто.

— Говорухин жил вместе со Шмидовой?

— Да.

— Шмидова была с ним в таких отношениях, что могла знать все, что делает Говорухин?

— Нет, совсем не в таких отношениях. Они были просто соседями по квартире. Говорухин не доверял ей никаких своих дел.

— Вы утверждаете это?

— Утверждаю.

— А вам никогда не случалось, придя на квартиру Говорухина и не застав его дома, оставить что-либо Шмидовой для передачи Говорухину?

— Нет, не случалось.

Окулов, сделав какую-то пометку в своих бумагах, кивнул седым бобриком председательствующему, как бы говоря, что у него вопросов больше нет.

Дейер посмотрел на сидящих с обоих краев сенаторов — налево на Бартенева (тот покачал головой: вопросов нет), и направо на Лего (у Лего вопросов тоже не было), после чего начал задавать вопросы сам.

— Скажите, подсудимый, какого числа уехал за границу Говорухин?

— Двадцатого февраля.

— Ульянов, из материалов дела следует, что провожали Говорухина за границу именно вы.

— Да, провожал Говорухина я.

— Почему Говорухин уехал за границу?

— Вследствие того, что он был причастен к замыслу на государя.

— Но ведь и вы были причастны к этому замыслу, однако же вы не уехали.

— Это было дело каждого — уезжать или оставаться.

— Позвольте, но какое же было основание вам и другим лицам, принимавшим участие в заговоре, оставаться в Петербурге, а Говорухину спасаться за границу? Как вы позволили ему уехать? Ведь он же был вашим соучастником! Он оставил вас здесь, а сам удрал за границу!

— Не он нас оставил, а мы остались сами.

Первоприсутствующий с досадой отодвинул от себя бумаги.

— Ничего не понимаю. Все-таки вы что-то скрываете, Ульянов. Этот непонятный случай с отъездом Говорухина за границу был отмечен еще следствием.

— Я ничего не скрываю, господин сенатор.

— Но почему же именно Говорухину выпала столь счастли-

вая доля избежать преследований, а остальным, гораздо более молодым, остаться здесь? Почему?

Саша посмотрел на Дейера, устало опустил глаза.

— Вам этого не понять.

Первоприсутствующий заерзал в кресле.

— Вы объясните лучше, так и я пойму.

— Уехать, господин сенатор, мог каждый. Всякий, кто хотел. И остаться тоже... Уехал один Говорухин.

— Ну так что из этого?

— Мне больше нечего добавить к своим объяснениям.

Первоприсутствующий развел руками.

— И вы думаете, что объяснили вразумительно? Мне, например, по-прежнему ничего не понятно.

Он склонился к Ягну — старик презрительно сморщился. Окулов неопределенно пожал плечами. Бартенев и Лего в ответ на вопросительный взгляд первоприсутствующего согласно закивали головами. (Саша заметил, что и Бартенев и Лего соглашались с председателем суда во всем. Было похоже на то, что дела они почти не знали и были назначены в процесс в самую последнюю минуту. Ягн вмешивался в допрос по вредности характера. Окулов же, по-видимому, хорошо ознакомился со всеми протоколами допросов. Могло быть и так, что первоначально именно его намечали первоприсутствующим, но потом по каким-то соображениям заменили Дейером.)

Именно Окулов и продолжил допрос.

— Подсудимый, вы были хороши с Говорухиным?

— Да.

— А с Шевыревым?

— И с Шевыревым хорош.

— А с кем больше?

— С обоими одинаково.

— Средства для отъезда Говорухина за границу доставали вы?

— Я.

— Где вы взяли деньги?

— Господин сенатор, мне бы не хотелось сейчас отвечать на этот вопрос. Если необходимо, я могу сделать это письменно.

Окулов переглянулся с Дейером. Первоприсутствующий степенно кивнул. Окулов сделал пометку в бумагах, поймал Сашины глаза цепким, колючим взглядом.

О к у л о в. Из материалов дела следует, что теоретическая часть программы вашей партии была гектографирована, не так ли?

Саша. Да, это так.

Окулов. Кто же гектографировал?

Саша. Я.

Окулов. Вы один?

Саша. Один.

Седой окуловский бобрик недоверчиво качнулся из стороны в сторону.

— Но гектографировать — это не такое простое дело. Я знаю.

Саша молчал.

— Вам помогал кто-нибудь?

Саша. Был еще один человек.

Окулов. Он находится в числе лиц, обвиняемых по настоящему делу?

Саша. Нет.

Окулов. Как его фамилия?

Саша. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.

Окулов. Назовите его имя!..

Саша. Я отказываюсь отвечать.

Окулов. Этот человек был студентом университета?

Саша. Мне бы не хотелось отвечать и на этот вопрос.

Окулов. Вследствие чего же?

Саша. Вследствие моих личных убеждений, господин сенатор.

Между тем Дейер, перегнувшись через ручку кресла, что-то быстро говорил Окулову. Первоприсутствующему не нравилось, что Окулов задает слишком много вопросов, оттесняя таким образом его, Дейера, на второй план.

Окулов, пожав плечами, согласился с Дейером. Первоприсутствующий выпрямился, поднял вверх подбородок.

— Скажите, Ульянов, а с Шевыревым вы давно знакомы?

— С осени прошлого года.

— А вот Шевырев показывает, что вы знакомы с весны 1886 года.

— Вполне может быть. Я просто запамятовал.

Дейер. Вы имели какой-нибудь особый повод познакомиться с ним? Или это произошло случайно? Может быть, сам Шевырев проявил инициативу при вашем знакомстве?

Саша. Мы познакомились случайно, просто встречаясь в университете.

Дейер. А вы посещали Шевырева на его квартире?

Саша. Нет, я не посещал Шевырева на его квартире.

Дейер. Но вы же знали, где живет Шевырев?

Саша. В последнее время он жил в Лесном.

Дейер. А раньше где он жил?

Саша. На Васильевском острове.

Дейер. В какой линии?

Саша. В пятой или шестой.

Дейер. Ага, Ульянов! Если вы так хорошо помните адрес Шевырева, значит, наверняка вы бывали у него.

Саша. Как раз я не очень хорошо знаю адрес Шевырева. Я даже линии его точно не помню.

Дейер. Так вы бывали на квартире у Шевырева или нет?

Саша. Кажется, был один раз. Не больше.

Первоприсутствующий снова собрал морщины на лбу. В это время член Особого Присутствия сенатор Бартенев зевнул так широко и так сладко, что в публике даже прошелестел смешок. «Ну зачем же он так долго мучает всех этих расшитых золотом сенаторов? — думал Саша, глядя на Дейера. — Ведь Бартенев давно хочет спать, Ягн тоже хочет спать, Окулов обижен полученным замечанием, Лего нужно принять лекарство. Да и публика устала...»

— Скажите, Ульянов, — первоприсутствующий придумал наконец вопрос, — к моменту знакомства с Говорухиным и Шевыревым вам известен был их образ мыслей?

— Да, известен.

— И он совпадал с вашими взглядами?

— Да, совпадал.

Бартенев сидел, положив локти на стол, кулаками задавливая зевоту. Положение за судейским столом складывалось донельзя неприличное. Дейер пошептался с Ягном, с Окуловым, с Лего, строго посмотрел на Бартенева.

— Объявляется перерыв заседания Особого Присутствия Правительствующего Сената, — высоким голосом возвестил Дейер. — После перерыва допрос подсудимого будет продолжен.

Сзади, топая сапогами, подошли судебные приставы. Саша взглянул на маму, несколько раз кивнул головой. Мама поднялась с места, заторопилась по проходу к барьеру, уронила белый платок...

Пристав положил сзади на плечо тяжелую ладонь. Саша отвернулся от решетки и, сгорбившись, вышел из зала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

— Продолжается допрос подсудимого Ульянова...

Дверь из зала заседаний Особого Присутствия в комнату, где содержатся подсудимые, чуть приоткрыта. Слышно, как сдер-

жанно перешептывается публика, с шумом отодвигают громоздкие кресла с высокими спинками сенаторы, как рассаживаются на своих местах сословные представители.

Саша оглядел комнату. Сгорбленный Шевырев, бледный Канчер, растрепанный Горкун, унылый Волохов. Только Осипанов сидит между жандармами прямо и строго, ни тени раскаяния на его лице.

Генералов и Андреюшкин напряженно внимательны. Новорусский растерян, подавлен. Красавец Лукашевич улыбается немного натянуто и удрученно, но все равно — никакие испытания, ни уже принятые, ни будущие, не могут изменить его гордой, независимой осанки.

— Прошу ввести подсудимого Ульянова, — скрипит за дверью голос Дейера.

Слоновья поступь судебных приставов, и вот они вносят в комнату свои неправдоподобно огромные фигуры — седые с желтизной бороды государственно лежат на крестах и медалях, непримиримо скрипят ремни амуниции, в глазах — не ослабевающая ни на секунду преданность престолу и вере, готовность в любую секунду умереть по приказу вышестоящих начальников.

Саша встал. Тотчас же все глаза поднялись на него.

Осипанов и Генералов смотрят твердо, надежно, Пахом Андреюшкин — неопределенно; все остальные по-разному — испуганно, безразлично, боязливо, виновато (это Канчер).

— Пожалуйте в залу Присутствия, — важно, с достоинством басит один из приставов.

И Саша, подняв голову, идет в зал заседания Особого Присутствия.

— Возобновляем допрос подсудимого Ульянова, — протяжно объявляет Дейер и тут же, опасаясь, что Окулов перехватит инициативу, сам задает первый вопрос. — Скажите, подсудимый, когда вы познакомились с метальщиками — Генераловым, Андреюшкиным и Осипановым?

Саша. С Генераловым я познакомился осенью прошлого года...

Дейер. С Андреюшкиным?

Саша. В декабре.

Дейер. С Осипановым?

Саша. С Осипановым я виделся только один раз, двадцать пятого февраля.

Дейер удивленно поднял брови.

— Неужели всего один раз? Этого не может быть.

— И тем не менее это так.

— Значит, Осипанова видели только один раз?

— Один раз.

— Но фамилию-то его раньше слышали?

— И фамилии не слышал.

— Но вам же говорили, что существует лицо, готовое принять на себя метание снаряда?

— Говорили. Но фамилии при этом не называли.

Дейер задумался. Сенатор Окулов зашелестел бумагами. Первоприсутствующий, как бы спохватившись, снова начал задавать вопросы.

Дейер. Когда вы познакомились с Канчером?

Саша. В январе этого года.

Дейер. А с Горкуном?

Саша. Приблизительно в то же время.

Дейер. И с Волоховым тогда же?

Саша. Нет, с Волоховым позже, в феврале.

Окулов. Господин председатель, прошу прощения... Скажите, Ульянов, вам приходилось бывать на квартире Горкуна?

Саша. Приходилось.

Окулов. С какой целью?

Саша. Сейчас уже не помню...

Окулов. Я могу напомнить вам... Вы принесли туда гектографированные прокламации о событиях семнадцатого ноября в Петербурге на Волковом кладбище. Когда вы хотели отслужить панихиду в память литератора Добролюбова. Припоминаете?

Саша. Припоминаю...

Окулов. Какого числа это было?

Саша. Не помню.

Окулов. И опять же я могу напомнить вам. Это было двадцатого ноября. Это число указано в обвинительном заключении.

Дейер. Да, да, совершенно правильно. Именно двадцатого ноября произошла ваша сходка. Кто еще, кроме Горкуна, принял участие в ней?

Саша. Был еще Канчер...

Дейер. И еще?

Саша. Был еще один человек, но фамилии его я не знал.

Дейер. Принесенные вами прокламации были прочитаны на сходке?

Саша. При мне — нет.

Дейер. Что же происходило при вас?

Саша. При мне прокламации раскладывались в конверты...

Дейер. И дальше?

Саша. На конвертах были надписаны адреса, по которым рассылались прокламации.

Дейер. Откуда же вы взяли адреса?

Саша. Я принес адрес-календарь, в котором были помечены лица, которым следовало распространить прокламации.

Дейер. Канчер и Горкун принимали участие в распространении?

Саша. Да.

Окулов. Следовательно, с ваших слов можно считать установленным, что знакомство с Горкуном у вас состоялось в ноябре прошлого года, а не в январе нынешнего, как вы изволили утверждать только что. Не так ли?

Саша. Так...

Окулов. Следовательно, вы вводили суд в заблуждение, сокращая срок своего преступного влияния на Петра Горкуна?

Саша. Я оговорился...

Дейер. Скажите, Ульянов, а кто указал вам на Канчера как на лицо, которое может распространять прокламации?

Саша. Сейчас уже не помню.

Дейер. Может быть, Шевырев?

Саша. Может быть, но точно сказать не могу.

Дейер. Вы бывали на квартире у Канчера?

Саша. Бывал.

Дейер. Часто?

Саша. Раза два-три...

Дейер. Что же привело вас к нему в первый раз?

Саша. Необходимость поездки Канчера в Вильну.

Дейер. Вы сами сказали Канчеру, что ему нужно ехать в Вильну?

Саша. Нет, ему сказал об этом Шевырев.

Дейер. Вы снабдили Канчера какими-либо письмами?

Саша. Нет.

Дейер. Деньгами?

Саша. Нет.

Дейер. Зачем же тогда приходили?

Саша. Чтобы удостовериться, уехал он уже или еще нет.

Дейер. Кто же вам сообщил, что Канчер уже уехал?

Саша. Горкун.

Дейер. Волохова в это время тут не было?

Саша. Не было.

Сенатор Лего, проведший первую часть допроса подсудимого Ульянова в грустных раздумьях о своем больном желудке, после обеда немного вздремнул с открытыми глазами (сенатор умел это делать совершенно незаметно для окружающих). Сон утолил боль. Ко второй части допроса Ульянова Лего уже стал прислушиваться. Подсудимый нравился ему: чистый, пылкий юноша из

хорошей семьи, открытое, умное лицо, ответы дает быстро, четко, уверенно. Лего решил поучаствовать в допросе Ульянова. Он придвинул к себе дело, перелистал несколько страниц.

— Господин председатель, у меня есть вопрос к подсудимому, — неожиданно тонким, почти женским голосом обратился он к Дейеру.

— Пожалуйста, господин сенатор, — наклонил в его сторону голову первоприсутствующий и злорадно покосился на Окулова: конкуренции со стороны полоумного Лего можно было совершенно не опасаться — все знали, что сенатор Лего давно уже выжил из ума, и в процессы Особого Присутствия его назначали каждый раз как бы для того, чтобы все пять сенаторских кресел (число, определенное для Особого Присутствия самим государем) были заняты полностью.

— Ну-ка, ну-ка, подсудимый, — весело запищал Лего, — ответьте-ка нам на такой вопросик: а зачем это понадобилось подсудимому Канчеру ездить в Вильну?

Сдерживая улыбку, Саша вопросительно взглянул на Дейера: отвечать или нет? Ведь причина поездки Канчера в Вильну выяснена следствием до мельчайших подробностей.

— Отвечайте, подсудимый, — голос Дейера напыщенно важен, первоприсутствующему все равно, о чем спрашивает Лего, лишь бы нейтрализовать на время дотошного Окулова, который знает дело, кажется, не хуже его самого, первоприсутствующего.

Саша. Канчер ездил в Вильну за азотной кислотой.

Лего. За азотной кислотой? Вот еще вздор какой! Зачем же ездить за азотной кислотой в Вильну, когда ее и в Петербурге полным-полно!

Саша. Покупка большого количества азотной кислоты в Петербурге могла привлечь к себе внимание.

Лего. А в Вильне вы не привлекли к себе внимания?

Саша. В Вильне кислоту нам передал знакомый человек.

Лего. То есть он передал ее Канчеру?

Саша. Да, Канчеру.

Лего. А как же она попала к вам?

Саша. Я встретил Канчера на вокзале и взял у него ее.

Лего. В самом деле?

В зале откровенно похохатывали. Не столько над бессмысленностью вопросов Лего, сколько над его петушиным голосом. Дейер понял, что, дав возможность Лего так долго самостоятельно разговаривать с подсудимым, он превысил ту норму времени, которая была необходима для юмористической разрядки и самого суда, и зрительного зала. Пора было выводить Лего из разговора.

— Скажите, Ульянов, — бесцеремонно перебил Дейер Лего, — когда вы познакомились с Новорусским?

— В ноябре или декабре прошлого года. Точно не припоминаю.

— При каких обстоятельствах?

— На одном из студенческих вечеров.

— Именно на этом вечере Новорусский и предложил вам давать уроки брату жены?

— Нет, об этом разговор был позже.

— Какой повод был Новорусскому предложить вам давать уроки сыну Ананьиной именно на даче в Парголове?

— Он, по-видимому, искал репетитора и слышал, что я тоже ищу такого рода уроки.

— После вашего отъезда из Парголова на дачу Ананьиной была привезена еще одна партия азотной кислоты. Новорусский знал человека, привезшего эту новую партию кислоты?

— Нет, не знал.

— В чем была привезена новая кислота?

— В бутыли.

— Больших размеров?

— Фунтов на десять, на двенадцать.

— Вы предупредили Новорусского или Ананьину, что привезут эту бутыль?

Саша взглянул на маму. Мария Александровна смотрела в ту сторону, где сидели защитники. Один печальный вопрос был в ее взгляде: неужели ничего нельзя сделать, чтобы хоть как-то ослабить или смягчить злую последовательность, жестокую логику этих безжалостных вопросов, которые с механической неутомимостью задавали ее сыну расшитые золотом бессердечные люди, сидевшие за председательским столом?

Дейер. Значит, вы отказываетесь отвечать на этот вопрос? Ну что ж, дело ваше...

Саша. Я ответил, вы просто не расслышали.

Дейер. Мария Ананьина знала ваш адрес в Петербурге?

Саша. Знал Новорусский.

Дейер. И что же, ни Новорусский, ни Ананьина не сделали попытки вернуть вам азотную кислоту, оставшуюся на даче?

Саша. Я не просил их об этом.

Дейер. Но ведь они знали, что вы больше не вернетесь в Парголово?.. Подумайте, Ульянов. От вашего ответа зависит очень многое для судьбы Ананьиной и Новорусского.

Сказав это, Дейер невольно поморщился. Такие предупреждения суд, безусловно, не должен делать допрашиваемому. Это ошибка.

Первоприсутствующий скосился налево. Окулов сидел, наклонив голову. Седой бобрик его коротких волос вместе с ушами несколько раз двинулся вперед и назад.

«Окулов, несомненно, отметил мою промашку, — подумал Дейер, — нужно немедленно нейтрализовать его. Если он сейчас полезет задавать вопросы — черт с ним, пускай задает!»

Саша. Я не говорил Новорусскому, что больше не вернусь в Парголово.

Дейер. Разве вы не видели его после отъезда с дачи?

Саша. Нет, не видел.

Дейер. А с Ананьиной вы при отъезде, естественно, говорили о чем-нибудь?

Саша. Да, говорили.

Дейер. Следовательно, через Ананьину мог знать Новорусский, что вы больше не вернетесь?

Саша. В последнем разговоре с Ананьиной я не сказал ничего определенного по поводу своего возвращения.

Дейер устало откинулся на спинку кресла. Черт возьми! Изворотливость этого Ульянова сделала бы честь любому адвокату.

Он вспомнил про Окулова и с неожиданной для самого себя живостью повернулся к нему.

— Господин сенатор, — голос первоприсутствующего был необычайно приветлив, — у вас, кажется, был какой-то вопрос к подсудимому?

Окулов удивленно взглянул на председателя суда. В чем дело? Что там еще задумала эта старая лиса Дейер? Отчего бы ему быть столь любезным?

«А может быть, он и не заметил моей промашки? — засомневался первоприсутствующий. — Может быть, я напрасно беспокоюсь?»

Окулов. Да, у меня есть вопрос... Скажите, Ульянов, какого числа и где состоялось ваше окончательное соглашение относительно того, каким образом совершить покушение на жизнь государя?

Саша. Это произошло двадцать пятого февраля на квартире у Канчера.

Окулов. Этот день был намечен вами предварительно? Если да, то с кем обсуждали вы время и место вашего собрания?

Саша. Предварительно я ни с кем и ничего не обсуждал. Все вышло скорее случайно, чем намеренно.

Окулов. В чем конкретно выразилась эта случайность?

Саша. Лично я пришел к Канчеру для того, чтобы увидеть Осипанова и прочитать ему террористическую часть нашей программы, которая была составлена незадолго до этого.

Окулов. Вы слышали разговоры участников боевой группы о том, каким порядком они будут держаться во время покушения?

Саша. Да, слышал.

Окулов. Вы все были в одной комнате?

Саша. Сначала в одной, а потом мы с Осипановым перешли в соседнюю.

— Господин председатель суда, разрешите теперь мне задать вопрос подсудимому Ульянову?

По залу прокатился шорох. Все повернули головы влево. Обер-прокурор Неклюдов, вопросительно наклонив голову, картинно стоял около своего стола, опершись руками о бумаги.

— Прошу вас, господин обер-прокурор, — проскрипел Дейер, из голоса которого уже исчезла былая приветливость и любезность. (По второстепенному характеру вопросов, которые задавал Окулов, первоприсутствующий понял, что никакой промашки тот за ним не приметил, и поэтому церемониться с Окуловым дальше было уже незачем.)

— Ульянов, — обер-прокурор выпрямился, скрестил руки на груди, — приехав в Парголово, вы привезли с собой, кроме вашей лаборатории, какие-нибудь вещи для перемены одежды?

«Опять Парголово, — подумал Саша. — Этот белоглазый Неклюдов тоже хочет сделать и Ананьину и Новорусского активными участниками дела. А вместе с этим увеличить и мою личную виновность».

Саша. Вещей было немного. Рубашка и полотенце.

Неклюдов. А это не вызвало удивления у Новорусского? Ведь если он сделал вам предложение давать уроки брату своей жены, он, очевидно, предполагал, что вы переезжаете к нему надолго?

Саша. Да, он это предполагал.

Неклюдов. И тем не менее, увидев у вас только рубашку и полотенце, он, по вашим словам, не выказал никаких признаков удивления?

Саша. Почему «по моим словам»? Я ничего не говорил об отношении Новорусского к количеству моих вещей.

Неклюдов вышел из-за стола и направился к деревянной решетке, которая окружала скамью подсудимых и около которой, с внутренней стороны, стоял Саша.

— Кстати сказать, Ульянов, — вертикальная складка над переносицей обер-прокурора обозначилась резко и глубоко, непроницаемые светлые глаза были пронзительно белесы, узкие губы сжимались после каждого слова решительно и быстро, как

у ящерицы, — почему вы даете разные показания о том, как вы попали в Парголово?

— В каком смысле разные?

— На следствии вы показали, что сами вызвались давать уроки сыну Ананьиной, а суду говорите, что предложение об уроках вам сделал Новорусский.

— Мне трудно держать в памяти все то, о чем я говорил на следствии.

Неклюдов. Новорусский интересовался, имеете ли вы что-нибудь для перевозки на дачу Ананьиной?

Саша. Я отправился в Парголово помимо Новорусского и на даче его не видел. Я встретил там Ананьину, и она ничего не спросила у меня относительно моих вещей и не интересовалась, что именно я привез.

Неклюдов вплотную подошел к барьеру. Теперь Саше были видны даже маленькие красные точки на его серо-голубоватых зрачках.

— Сколько человек было в семействе Ананьиной?

— Двое.

— Кто именно?

— Она, дочь и маленький сын.

— Так двое или трое?

— Если считать и мужа дочери, то четверо.

— А младшего брата Новорусского вы знали?

...Что-то произошло в последнем ряду. Саша тревожно перевел взгляд с лица прокурора на то место, где сидела мама, и не увидел ее.

Он тут же нашел ее — Мария Александровна, опустив голову, боком двигалась между креслами к центральному проходу. Словно почувствовав на себе его взгляд, она подняла голову, растерянно улыбнулась, но тут же лицо ее снова приняло болезненное выражение, горько изломались брови, и Саша понял: театральный прием Неклюдова с подходом вплотную к скамье подсудимых тяжело подействовал на маму. В этом движении прокурора она, очевидно, увидела приближение конца суда и... И кроме всего прочего, она, безусловно, знала, что Неклюдов — бывший папин ученик.

И вот теперь этот бывший ученик, на образование и воспитание которого Илья Николаевич тратил свои силы и знания, клюет, как ястреб, его сына, допрашивает его с особым старанием, еще злее и немилосерднее, чем даже сами судьи... Да, смотреть на это было тяжело.

Он чуть было не позвал ее, когда она подошла к дверям, но

сдержался и только крепче сжал отполированные, видно, не одним десятком рук деревянные перила решетки.

Стоявший около входных дверей судебный пристав открыл перед мамой дверь.

Дверь закрылась.

Мама ушла.

И снова, как тогда, в Петропавловке, при вручении обвинительного заключения, он с радостным облегчением почувствовал, как бешено полыхнуло в нем жаркое пламя ненависти к этому светлоглазому обер-прокурору Неклюдову, как неудержимо распрямляется под сердцем пружина, распрямляться которой не позволял он так долго.

— Господин председатель суда, — повернулся Саша к Дейеру, — я прошу вас вернуть обер-прокурора Неклюдова на то место, на котором положено находиться обвинению в процессе судебного заседания.

В зале повисла тишина. Такого здесь, кажется, не было еще ни разу. Чтобы обвиняемый указывал прокурору место, где тому следовало находиться? Ну, знаете...

— Э-э... Ульянов, — нерешительно начал Дейер, — вследствие чего вас не устраивает теперешнее местонахождение прокурора?

— Вследствие дурной привычки господина Неклюдова вести себя в судебном заседании, как в цирке.

Дейер растерянно молчал.

Взглянув в упор на Неклюдова, Саша увидел, как кровь отхлынула от бледных щек прокурора. Бесцветные глаза с красными точечками и прожилками замутились бессильной дурнотой еле сдерживаемой ярости, заискрились нечеловеческим, почти животным блеском. Так жестоко Неклюдова не оскорбляли еще ни разу в жизни.

«Это тебе за маму, негодяй! — думал Саша, не отводя взгляда от прокурорских глаз. — За ту боль, которую ты причинил ей своим эффектным выходом — позер несчастный, клоун, шаркун!»

Между тем первоприсутствующий по-прежнему молчал. В практике Дейера никогда еще не было случая, чтобы подсудимый публично оскорблял прокурора. И где?! В зале Особого Присутствия, где от каждого слова прокурора зависит жизнь подсудимого...

В зале нарастал шум. Публика была недовольна тем, что председатель суда так долго не может найти способ защитить прокурора.

— Ульянов, — все так же нерешительно заговорил Дейер, — вы прибегаете к недозволенным средствам...

— А разве средства, к которым прибегает этот господин, — Саша вытянул руку в сторону Неклюдова, — дозволены? Кого он хочет запугать своим эффектным поведением? Подсудимого — без того уже лишенного всех прав, всех возможностей сохранить свое достоинство? Почему же вы, господин сенатор, позволяете прокурору оказывать совершенно не вызываемое интересами дела воздействие на чувства родственников и близких подсудимых? Разве страдания их и горе и без этого недостаточно велики?

Зал молчал. Тишина была непривычная, удивленная. И зрители, и судьи, и сословные представители, и все другие участники процесса смотрели на невысокого, худощавого юношу с чуть продолговатым, взволнованным лицом, непримиримо пылающими глазами, пожалуй, впервые с таким искренним и неподдельным интересом.

II

Неклюдов первым понял, что оставаться в прежнем положении нельзя прежде всего ему. Нужно сделать вид, что ничего не произошло. Не вступать же ему в полемику с этим Ульяновым.

Медленно повернувшись, прокурор невозмутимо вернулся на свое место, перелистал бумаги и, опершись руками о стол, взглянул на подсудимого просто и ясно, как будто и в самом деле ничего существенного и не произошло.

— Скажите, Ульянов, — голос Неклюдова был ровен, спокоен, и в публике послышался одобрительный шепот в адрес прокурора, обладающего столь завидной способностью владеть своими чувствами, — скажите, Ульянов, был ли на даче в Парголове младший брат Новорусского или не был?

— Я никогда не видел младшего брата Новорусского. Задавать мне этот вопрос бессмысленно.

Неклюдов. Какие же уроки давали вы сыну Ананьиной?

Саша. Разные.

Неклюдов. Например?

Саша. Например, закон божий.

Неклюдов. Чему же вы учили своего ученика из закона божьего?

Саша. У нас был только один урок.

Неклюдов. Из чего он состоял?

Саша. Я узнал, что проходил сын Ананьиной до меня, и задал ему урок из правил богослужения.

Неклюдов. Сколько лет было вашему ученику?

Саша. Тринадцать.

За столом членов суда произошло какое-то движение. Неклюдов вопросительно взглянул на Дейера. Первоприсутствующий с любопытством смотрел на прокурора. «Неужели он так и оставит это оскорбление со стороны Ульянова без ответа? — думал Дейер. — Неужели не попробует взять реванш здесь же, на глазах у той же самой публики?»

Неклюдов молча, жестом руки спросил у председателя: я могу продолжать вопросы? Дейер кивнул. Прокурор перевел взгляд на подсудимого.

— Уезжая из Парголова, вы просили Ананьину делать какие-либо опыты с нитроглицерином, чтобы проверить, не испортился ли он?

— Нет, не просил.

— Значит, просто сказали, чтобы следили за ним?

— И этого я ей не говорил.

— Но вы же показали на следствии, что просили Ананьину держать нитроглицерин в холодном месте?

— Это совсем другое...

«Зачем он задает ему все эти мелкие вопросы? — подумал Дейер. — И причем здесь Ананьина, когда нужно просто публично унизить этого Ульянова, чтобы спасти свою репутацию в глазах публики».

Неклюдов. Скажите, подсудимый, когда вы отправлялись в Парголово, Новорусский сообщил вам адрес Ананьиной?

Саша. Нет, не сообщал.

Неклюдов. Ананьина встретила вас на перроне?

Саша. Да, на перроне.

— Вы были знакомы до этого?

— Нет.

— Как же вы узнали друг друга?

— В это время года на станции бывает мало народу. Когда я приехал, на перроне была только одна женщина.

Неклюдов. Вы подошли к ней и спросили: не она ли будет Ананьина?

Саша. Приблизительно так.

Неклюдов. А раньше вы ее вообще ни разу не видели?

Саша. Кажется, видел один раз мельком...

— Где?

— У Новорусского.

— И когда вы приехали на станцию, вы ее узнали?

— Скорее догадался.

— Она первая подошла к вам?

— Нет, первым подошел я.

— И назвали свою фамилию? Или она узнала вас?

— Я назвал себя.

— И вы отправились на дачу?

— Да.

«Что же, у него нет никакого самолюбия? — продолжал наблюдать за прокурором первоприсутствующий. — Ему при всех плюнули в лицо, а он ведет себя так, будто обменялся со своим оскорбителем дружеским рукопожатием...»

Неклюдов. Каким образом вы уехали из Парголова? Снова на поезде?

Саша. Нет, я уехал на лошади.

Неклюдов. Вместе с Ананьиной?

Саша. Вместе с Ананьиной...

Неклюдов. Зачем она поехала с вами?

Саша. Ей была какая-то надобность в Петербурге.

— Вы ехали на извозчике?

— Нет.

— На крестьянской лошади?

— Во всяком случае, не на городской.

— Не предполагали ли вы поначалу возвращаться в город по железной дороге?

— Сейчас уже не помню.

— На следствии Ананьина показала, что вы говорили ей, что хотите ехать поездом.

— Да, кажется, так и было...

— А потом Ананьина стала настаивать, чтобы вы отправились с ней, не так ли?

— Нет, она ни на чем не настаивала. Просто вначале я не знал, что она едет на лошади. А когда узнал, то сказал ей, что и я поеду вместе с ней.

— Она довезла вас до вашей городской квартиры?

— Нет, я сошел гораздо раньше.

— Где именно?

— Там, где начинается конка.

— Зачем?

— На лошади сильно трясло.

— И вы опасались, что приготовленный вами материал может взорваться?

— Да.

— Вы сказали Ананьиной, что вернетесь за своими вещами?

— Нет.

— А что вы ей сказали?

— Когда?

— В тот момент, когда пересаживались на конку?

— Ничего не говорил.

— А как вы объяснили свой отказ ехать вместе с ней дальше? Ведь она же могла довезти вас до самой квартиры...

— Я сказал, что мне нужно зайти к знакомому.

— А она не удивилась?

— Чему?

— Тому, что вы идете к знакомому с взрывчатым материалом. Ведь это же было рискованно.

«Кажется, он поймал его! — радостно подумал Дейер. — Неужели поймал? Ай да прокурор! Молодчина...»

Саша усмехнулся.

— Ананьина ничего не знала об имеющемся у меня взрывчатом материале, — сказал он громко и твердо. — Так что ей нечему было удивляться.

«Выкрутился? — удивился Дейер. — Но ничего... Прокурор все равно молодец. Своими вопросами он, безусловно, угробил Ананьину... Вот, оказывается, почему он не стал реагировать на оскорбление Ульянова... Молодец, молодец... Наверху эта сдержанность будет оценена».

Неклюдов. И все-таки Ананьина не могла не удивиться.

Саша. Чему она должна была удивляться?

Неклюдов. Ну, хотя бы вашему столь быстрому отъезду.

Саша. Ей незачем было удивляться, потому что она...

Неклюдов (перебивает)... знала, что динамит уже приготовлен?

«Опять поймал?» — улыбнулся Дейер.

Саша. Потому что она убедилась, что я приехал к ней на дачу не для уроков с ее сыном, а для...

Неклюдов (перебивает)... а для того, чтобы делать динамит?

Саша. А для своих химических опытов. Это было оговорено заранее. Каковы же были эти опыты — об этом Ананьина ничего не знала.

«Ульянов всеми силами старался выгородить Ананьину, — думал Дейер, — но прокурор так искусно ставил вопросы, что чем подробнее объясняет Ульянов невиновность Ананьиной, тем больше эта виновность усугубляется».

Неклюдов. Вы приехали давать уроки, а пробыли всего три дня. Это не может не показаться странным, тем более что...

Саша (перебивает). Мои неудовлетворительные занятия с сыном Ананьиной сделали для нее мой отъезд вполне естественным.

Прокурор повернулся к столу членов суда, развел руками.

— У вас больше нет вопросов, господин обер-прокурор? — спросил Дейер.

— У меня вопросов больше нет.

Неклюдов наклонил голову и сел на свое место.

— Ульянов, — глухо заговорил Дейер и, чувствуя, что после долгого молчания голос у него немного сел, откашлялся и усилил артикуляцию, — объясните суду, кто же вас все-таки научил приготовлять разрывные метательные снаряды?

Саша молчал. Поединок с прокурором стоил ему немалых душевных сил. Чтобы переключиться на Дейера, нужно было успокоиться, прийти в себя.

— Может быть, вам помогал кто-нибудь?

— Да, помогал.

— Кто же?

— Мне давал указания один человек.

— Это Говорухин?

— Нет.

— Лицо, дававшее вам указания, находится в числе подсудимых?

— Нет.

— Этот человек практиковался раньше в изготовлении динамитных снарядов?

— Не знаю.

— Но с химическими операциями он был знаком?

— Безусловно.

— Вы отказываетесь назвать имя этого человека?

— Господин сенатор, это наивный вопрос. Если я не назвал его во время следствия, то не назову и сейчас.

— Ну что ж, это, пожалуй, логично...

Дейер, забыв про Окулова, сделал небольшую паузу, и сенатор Окулов не преминул тут же этой паузой воспользоваться.

— Ульянов, ранее у нас уже был разговор, — скороговоркой зачастил Окулов, — о том, что при бегстве Говорухина за границу провожали его вы. На предыдущем заседании вы показали, что деньги для отъезда Говорухину доставили также вы.

— Я не отказываюсь от этих показаний.

Окулов. Но вы отказались сообщить суду источник получения этих денег... В то же время из материалов суда следует, что самостоятельными средствами к жизни вы не располагали и в университете содержались на счет вашей матери.

Саша взглянул в последний ряд — мамы по-прежнему не было.

— Я могу сообщить суду источник тех средств, которые были переданы мною Говорухину при его отъезде за границу.

Окулов многозначительно посмотрел на Дейера, как бы под-

черкивая свое умение заставлять подсудимых говорить именно то, что важно и необходимо знать судьям.

Саша. В университете на третьем курсе я получил большую золотую медаль за сочинение по зоологии. Это была работа о внутреннем строении кольчатых червей...

Лего. О чем, о чем?

Саша. О внутреннем строении кольчатых червей.

Лего. Червей?

Саша. Да, червей.

Лего. Странно...

Окулов. Продолжайте, Ульянов.

Саша. Когда Говорухину представилась надобность ехать за границу, я заложил медаль.

Окулов. Какие же средства могла доставить вам золотая медаль?

Саша. Она доставила мне сто рублей.

Окулов. И этой суммы оказалось достаточно для поездки за границу?

Саша. Этой суммы оказалось достаточно, чтобы пересечь границу.

Окулов. А разве своих средств у Говорухина не было?

Саша. Были.

Окулов. Так зачем же потребовалось закладывать медаль? Экзотика? Романтика?

Саша. Свои деньги должны были поступить Говорухину уже после того, как он твердо обоснуется за границей. А для отъезда нужно было достать скорее.

Окулов. Каким образом Говорухину удалось получить заграничный паспорт?

Саша. Он предполагал достать его в Вильне.

Окулов. От кого?

Саша. Не знаю.

Окулов. И что же, достал?

Саша. Этого я тоже не знаю.

Окулов. Но ведь вы же провожали Говорухина до самой Вильны.

Саша. Нет, я провожал Говорухина только до Варшавского вокзала в Петербурге.

— Вы закончили ваши вопросы, господин сенатор? — склонился к Окулову Дейер.

— Пока закончил, — с достоинством ответил Окулов, давая понять председателю, что кое-что про запас у него, у Окулова, все-таки еще есть...

— Тогда разъясните нам, Ульянов, вот какую деталь, — голос

первоприсутствующего звучал вкрадчиво и даже таинственно. — Вы хорошо знали подсудимого Пилсудского?

— Я познакомился с ним только в связи с печатанием нашей программы.

Дейер. Значит, вы познакомились в феврале?

Саша. Да, числа шестого.

Дейер. Пилсудский был в курсе обстоятельств отъезда за границу Говорухина?

Саша. Нет, не был.

Дейер. А почему же тогда именно Пилсудский получил телеграмму, что Говорухин благополучно проехал через границу?

Саша. Я не совсем понял ваш вопрос, господин сенатор.

Дейер. Вы договорились с Говорухиным, что он известит вас телеграммой о своем переезде через границу?

Саша. Договорились.

Дейер. Почему же эту телеграмму получили не вы, а Пилсудский?

Саша. Очевидно, здесь вышла ошибка.

Дейер. Пилсудский показал вам телеграмму?

Саша. Нет.

Дейер. Он устно передал вам ее содержание?

Саша. Да.

Дейер. Непосредственно?

Саша. Да, непосредственно.

Дейер. А может быть, все-таки был какой-нибудь посредник, а? Не припоминаете?

Саша. Припоминаю...

Дейр. Фамилию сами назовете или подсказать вам?

Саша. Текст телеграммы мне пересказал Лукашевич.

Дейер. Значит, и не такой уж посторонний человек в замысле на государя был Пилсудский?

Саша. Прямого участия в замысле он не принимал.

Дейер. Но ведь именно на квартире Пилсудского печатали вы программу вашей фракции?

Саша. Да, печатали у него...

Дейер. Кто вам указал, что на квартире Пилсудского можно безопасно печатать нелегальные издания?

Саша. Лукашевич.

Дейер. Пилсудский не был удивлен, когда вы пришли к нему?

Саша. Он был предупрежден.

Дейер. Типографские принадлежности доставал Пилсудский?

Саша. Нет, их принес я.

Дейер. Пилсудский знал содержание программы?

Саша. Нет.

Дейер. Разве он не полюбопытствовал, что именно иелегальио печатается иа его квартире?

Саша. Пилсудский — человек хорошего воспнтаиия. Он считал неудобным интересоваться чужимн занятиямн.

— Пнлсудский прнсутствовал в то время, когда вы печатали программу?

— Нет, не прнсутствовал.

— Сколько дней вы печатали?

— Три дня.

— Вам помогал кто-нибудь?

— Да.

— Назвать отказываетесь?

— Отказываюсь.

— Сколько экземпляров программы было отпечатано на квартире Пилсудского?

— Большая часть времени у нас ушла на подготовку набора. Первый оттиск был иеудачен. Это было первого марта... Вечером я пошел к Канчеру и на его квартнре был арестован...

Дейер откинулся на спинку кресла. Ну, кажется, все. Больше спрашивать Ульянова абсолютно не о чем. Но для порядка все-такн нужно узиать у сенаторов — нет ли вопросов?

Первопрнсутствующнй повернулся к Ягну — у того вопросов не было. Лего? Нет.

— У меня есть вопрос к подсудимому, — седой бобрик иа голове Окулова двинулся вместе с ушами вперед, вернулся назад и замер.

Дейер чертыхиулся про себя. Проклятый Окулов никак не хочет уступать инициативу. Ну что ж, посмотрим, о чем еще можно спрашивать Ульянова.

— Прошу, — ледяным голосом пронзнес первоприсутствующий и кивиул Окулову.

— Итак, вы собирались бросить в императорский экипаж три бомбы? — стараясь придать голосу значительное выражение, начал Окулов.

— Да, три, — устало ответил Саша.

Окулов. Следовательно, метальщиков было трое?

Саша. Да, трое.

Окулов. А вы сами никогда ие предлагали свою кандидатуру на роль прямого участника покушения?

Саша. Нет, не предлагал.

Окулов. А почему? В случае удачи ваше честолюбие н, если хотите, тщеславие были бы удовлетвореиы гораздо полиее.

Саша. Я ие честолюбивый человек, господнн сенатор. А тем более не тщеславиый.

Окулов. Или, может быть, вы просто боялись быть непосредствениым участником покушения? У вас не хватало мужества?

Саша. Причина другая. К тому времени, когда образовалась наша фракция, уже были известны лица, которые согласились принять на себя бросание снарядов в царскую карету. Так что необходимости в метальщиках не было. Гораздо важнее было хорошо приготовить бомбы.

Окулов. И на выполнение этой задачи вы бросили свои знания, полученные за четыре года обучения в университете?

Саша. Да, я начал приготовлять бомбы.

Окулов. Когда вы приготовили их, вы были совершенно уверены, что они окончательно готовы к действию?

Саша. Нет, я неоднократно говорил членам фракции, что иаши бомбы обладают иесовершенной конструкцией.

Окулов. Кому вы говорили?

Саша. Это не имеет значения... Наибольшее опасение вызывал у меня запал. Трубка запала была слишком длинна. При быстром обороте бомбы в воздухе порох мог бы и не попасть на вату, и взрыва могло не случиться. Но я допускал возможность...

— Ульянов, это технические подробности, — перебил Дейер. — Оставьте их для специальной экспертизы.

Он твердо посмотрел на Окулова.

— У вас больше нет вопросов к подсудимому Ульянову?

Окулов поджал губы.

— Нет.

Дейер бегло взглянул иа места присяжных поверенных и сословиых представителей.

— Допрос подсудимого Ульяиова окончеи, — скрипучим голосом объявил первоприсутствующий. — Объявляется перерыв заседания Особого Присутствия Правительствующего Сената...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Неклюдов сделал несколько глотков, поставил стакан на стол.

— Перехожу к обвинению против подсудимого Ульянова...

Небольшая пауза. Всего несколько секунд. Чтобы и судьи и публика могли вспомнить реплику подсудимого Ульянова. В ад-

рес обер-прокурора. Насчет цирка. Брошенную во время допроса.

Саша нашел глазами маму, кивнул ей. (Рядом с мамой сидел Песковский — муж Катеньки Веретенниковой, двоюродной сестры, — публицист, литератор, из умеренных.) Потом перевел взгляд на прокурора.

Неклюдов словно ждал этого взгляда. Бледное лицо его сделалось совсем белым, светлые глаза расширились, и от этого стало казаться, что увеличились глазные ямы: зрачки провалились в глубину черепа и сверкали неизрекаемой жаждой отмщения.

— Принадлежность подсудимого Ульянова к преступной организации, именовавшей себя террористической фракцией партии «Народная воля», доказана в процессе судебного заседания Особого Присутствия полностью.

Объективными доказательствами этой принадлежности являются личное признание подсудимого, а равно и то обстоятельство, что дважды — 28 февраля и 1 марта — в квартире Пилсудского подсудимый Ульянов производил набор программы фракции, которая, судя по словам самого же Ульянова, должна была служить оправданием как создания террористической фракции, так и самой идеи цареубийства...

Само участие подсудимого Ульянова в преступном замысле против священной особы государя императора может быть сведено к трем главным пунктам... Во-первых, в содействии другим злоумышленникам в деле приобретения средств для выделки снарядов...

...Во-вторых, участие подсудимого Ульянова в заговоре на жизнь государя характеризуется тем, что он изготовил материалы для метательных снарядов...

...Подсудимый Ульянов присутствовал на общей сходке членов террористической фракции 25 февраля сего года на квартире подсудимого Канчера, на которой было принято окончательное решение о сроках покушения... Подсудимый Ульянов содействовал побегу за границу одного из важнейших участников заговора Ореста Говорухина, снабдив последнего деньгами и адресовав его в Вильну к лицу, заранее предупрежденному. Подсудимый Ульянов, господа судьи, являлся совершенно необходимым пособником в деле выполнения задуманного злоумышления, так как именно он сфабриковал динамит, то есть то средство, с помощью которого должно было быть совершено настоящее преступление...

Неклюдов потянулся за стаканом, отпил воды — кадык его вздрогнул и несколько раз пробежал по шее вверх и вниз.

— ...Скажу более: Ульянов был не только необходимым по-

собником, не только физическим участником, но и участником интеллектуальным — одним из главных зачинщиков злоумышления. Правильность этого вывода доказывается участием Ульянова в сходке по поводу беспорядков на Волковом кладбище 17 ноября прошлого, 1886 года — той самой сходке, господа судьи, от которой и пошла угроза террористическим актом. Эта угроза заключалась — и я обращаю на это особое внимание — в написанной лично подсудимым Ульяновым листовке-воззвании, носившей название «17 ноября в Петербурге»... От возникновения угрозы на жизнь государя следует приготовление к покушению и наконец выход с бомбами на Невский проспект для приведения задуманной угрозы в исполнение... Явившись на первую террористическую сходку, Ульянов приходит и на последнее сборище террористов, принимая, таким образом, участие в заговоре на всех его стадиях — от зарождения до исполнения. И если вы припомните, господа судьи, что к моменту последнего собрания членов террористической фракции в Петербурге не было уже ни Шевырева, ни Говорухина, то невольно приходишь к заключению, что в последние дни перед покушением подсудимый Ульянов заменил этих двух отсутствующих зачинщиков — руководителей заговора и фактически единолично встал во главе замысла на жизнь государя императора...

...Активное интеллектуальное участие подсудимого Ульянова в заговоре подтверждается и тем фактом, что на уже упомянутом мною последнем сборище террористов он, Ульянов, читал программу фракции с глазу на глаз руководителю боевой группы подсудимому Осипанову, хотя таковое чтение, казалось бы, и не было вызвано прямой необходимостью. Это говорит о том, господа судьи, что подсудимый Ульянов старался всеми силами укрепить в террористах готовность убить царя, употребляя даже такие дополнительные средства воздействия, как непосредственное внушение с глазу на глаз...

...Заканчивая обвинение подсудимого Ульянова, — Неклюдов картинно заложил руки за спину и качнулся с носков на пятки и обратно, — я хотел бы обратить внимание и на тот факт, что в руках Ульянова находилась часть кассы злоумышленников, которые получали средства на свои преступные расходы всегда только от Шевырева или только от Ульянова. Я бы мог напомнить также, что Ульянов явился одним из главных авторов террористической программы, что его террористическая пропаганда ускорила решимость вступить в заговор других участников, что сам подсудимый Ульянов признал на следствии, что он вложил в замысел лишить жизни священную особу государя императора все свои силы и всю свою душу! Но довольно и того,

что уже сказано... Господа судьи! Господа сословные представители! На основании всего вышеизложенного, исходя из статей 1032 и 1061 (части первая и третья) уголовного судопроизводства, а также статей 17, 18, 241 и 243 Уложения о наказаниях, я требую у Особого Присутствия Правительствующего Сената приговорить подсудимого Ульянова Александра, двадцати одного года, уроженца Нижнего Новгорода, сына действительного статского советника, предварительно лишив его всех прав состояния...

Неклюдов приподнял от бумаг белое восковое лицо, затаенно сверкнул из глубины провалившихся глаз матовым блеском зрачков.

— ... к смертной казни через повешение!

Саша вздрогнул, почувствовав легкий озноб на спине, между лопатками. Он хотел было посмотреть на маму, но что-то помешало ему сделать это — какая-то странная, незнакомая до сих пор скованность плеч, подбородка и шеи.

Он все-таки посмотрел на маму. Черная наколка на низко опущенной маминой голове клонилась все ниже и ниже. Песковский, придвинувшись вплотную к Марии Александровне, что-то быстро говорил ей.

II

— Приступаем к защите подсудимых Генералова, Андреюшкина и Ульянова, — объявил Дейер. — Перечисленные мной подсудимые отказались от услуг адвокатуры и пожелали защищать себя сами. Первому слово предоставляется подсудимому Генералову.

Генералов встал, придвинулся к барьеру решетки. Публика с интересом разглядывала его крупную, плотную фигуру с вислыми круглыми плечами, сильную шею, резко очерченные, правильные черты лица.

— Выслушав обвинительную речь господина прокурора, — с мягким южным говором, налегая на букву «г», начал Генералов, — я считаю фактическую сторону дела установленной правильно. Поэтому к ней я больше возвращаться не буду. Мне хотелось бы остановиться на некоторых нечестных приемах, которые господин прокурор проявил лично против меня...

«Так его, Вася, так его! — радостно думал Саша. — По мелочам с ними спорить не надо, все равно ничего не добьешься. Надо показать нравственную нечистоплотность господина Неклю-

дова, и тогда все его эффектные логические построения хотя бы отчасти, но все-таки будут поставлены под сомнение...»

— Я хотел бы обратить внимание суда, — продолжал между тем Генералов, — на то, каким образом представил господин прокурор суду мои взгляды на террор. Господин прокурор в своей обвинительной речи использовал цитату из обвинительного акта против меня. Но он взял только первую часть цитаты. Вторую часть цитаты он намеренно опустил. Для чего это понадобилось ему? Да для того, чтобы выставить меня — одного из самых активных участников покушения — в роли анархиствующего бандита, которому все равно кого и все равно зачем убивать. А тем самым как бы невзначай бросить тень на всю нашу фракцию, на всю партию...

Выступая здесь перед вами, господа судьи, — продолжал Генералов, — господин прокурор, упоминая мои показания на следствии, во всеуслышание заявил, что Генералов-де сам признался на следствии в том, что он предоставил себя в распоряжение партии «Народная воля» для совершения любого террористического акта. Вот он, мол, какой — этот Генералов! Заурядный убийца, уголовник! А между тем на следствии (и это зафиксировано в лежащем передо мной, а также перед вами, господа судьи, протоколе моего допроса) я сказал, что предоставил себя в распоряжение партии «Народная воля» для совершения любого террористического акта, полезного — подчеркиваю это слово, — полезного для достижения ближайшей цели партии: свободы слова, свободы собраний и сходок, участия в управлении государством... Вот где передернул господин прокурор! Он опустил всю вторую часть моей фразы, начиная со слова «полезного», исказив таким образом в корне мои взгляды и убеждения, лишив их общественного, социального содержания...

Да, господа судьи, — продолжал Генералов, — мы ставили своими ближайшими целями достижение в России свободы слова и свободы выражения своего мнения. Мы хотели мирно проводить в жизнь свои идеи. Мы хотели мирно выслушивать возражения наших противников и оппонентов. Мы хотели мирно добиваться того, чтобы представители мыслящей интеллигенции участвовали в управлении государством. Мы хотели бы иметь такую официальную администрацию в нашей стране, которая при свободе слова могла бы сочувствовать нашим идеям и помогала бы претворять их в жизнь... Но в нашей стране — повсюду реакция, повсюду честным людям затыкают рты, не говоря уже о том, что им связывают руки и ноги при всякой попытке деятельности на благо общества. Поэтому и необходим террор, по-

этому необходимы бомбы, чтобы встряхнуть болото, именуемое русской общественной жизнью.

— У вас все, Генералов? — спросил Дейер.

— Все.

— Ничего не хотите сказать суду в свое оправдание? Ведь вы же не сделали даже малейшей попытки защитить себя по существу дела.

— В свое оправдание я могу сказать только одно, — Генералов высоко поднял тяжелую чубатую голову. — Всегда и везде, как и здесь, как и первого марта на Невском проспекте, я поступал в полном согласии со своей совестью и убежденностью.

— Садитесь, подсудимый Генералов. — Дейер отложил в сторону дело Генералова, придвинул к себе дело Андреюшкина. — Слово для защиты имеет подсудимый Андреюшкин.

Пахом лихо вскочил с места — легкий, стройный, проворный, добродушно окинул веселыми глазами публику, кивнул кому-то.

— Ну что же вы молчите, Андреюшкин? — усмехнулся Дейер. — Начинайте же свою защиту.

— А я не хочу никакой защиты. — Пахом тряхнул кудрявой головой.

— В каком смысле не хотите?

— В прямом.

— Отказываетесь, что ли, от защиты совсем?

— Не отказываюсь, а просто не хочу.

— Потрудитесь, Андреюшкин, объяснить суду свои намерения более четко.

— А зачем мне от вас защищаться? — голос Пахома — шутливый кубанский говорок — насмешлив, едок, презрителен. — Зачем мне от вас защищаться, когда вы давно уже все про мою голову решили, а?

— Андреюшкин, будьте серьезны, — нахмурился Дейер, — вы находитесь в суде, а не на студенческой вечеринке.

Пахом случайно встретился взглядом с прокурором.

— Ладно, буду серьезен, — вдруг неожиданно изменил он интонацию, согнал с лица беззаботную улыбочку. — Хочу сказать два слова за господина прокурора... Тут Вася Генералов уже рассказывал, как господин прокурор его показания на две части разрезал, будто арбуз. Одну половинку до господ судей представил, а вторую поховал. И со мной то же ж самое прокурор зробыв, як по нотам.

В публике смеялись. Пахом замолчал, подождал, пока смех утихнет, сделал над собой усилие — заговорил чисто по-русски, без прибауток.

— В моей записной книжке есть выписка об отношении членов нашей партии «Народная воля» к социал-демократам. Господин обер-прокурор Неклюдов взял из этой выписки в свое обвинительное выступление против меня только начало моей записи, где говорится о противоречиях между «Народной волей» и социал-демократией. Всю же вторую часть, где речь идет об общности наших целей и задач, господин прокурор опустил... Несколько раз, говоря об отношениях между народовольцами и социал-демократами, господин прокурор повторил слово «антагонизм». У слушателей, естественно, может вполне сложиться впечатление, что антагонизм существует между нашими партиями. А между тем, и в моей книжке это написано черным по белому, это слово характеризует отношения всего лишь нескольких лиц из обеих партий, не затрагивая существа их целей и программ... Господин прокурор на этом месте передернул... А зачем? А затем, чтобы еще раз противопоставить нас другой революционной партии, чтобы выделить нас из общей революционной среды и представить как группу сумасбродных, экзальтированных мальчишек, которые занимаются не тяжким трудом революции, а только поигрывают в революцию, забавляются бомбами, динамитом, отравленными пулями... Нет, господин прокурор, это дело у вас не выйдет!

— Я смотрю, адвокат из вас, Андреюшкин, весьма никудышный, — позволил себе небольшую вольность Дейер, — хотя защищать вы взялись самого себя... Придется, по-видимому, оказать вам небольшую юридическую помощь. В своем защитительном слове вы, например, могли бы просить суд о снисхождении, — назидательно говорил Дейер, пропуская намек на случай с Турчаниновым мимо ушей. — Могли бы высказать просьбы и иного порядка. Члены Особого Присутствия, я надеюсь, весьма охотно согласились бы удовлетворить те ваши пожелания, которые сочли бы удобными к выполнению.

Пахом вдруг тряхнул головой, словно захотел сбросить с себя какое-то оцепенение, какую-то мороку, выпрямился и стал удивительно похож на Генералова, хотя был и выше его, и тоньше.

— Господа судьи, господа сословные представители, — голос дрогнул, завибрировал, но Пахом тут же справился с волнением, — как член партии «Народная воля» я всегда и во всем служил делу своей партии до конца преданно... Я не знаю такой жертвы, на которую я не мог бы пойти ради идеалов своей партии... И поэтому я, находясь в полном здравии и рассудке, объявляю, что заранее отказываюсь от любой просьбы о снисхождении, потому что считаю такую просьбу позорным, несмываемым

пятном для знамени, которому я служил и буду служить до самых последних минут своей жизни!

Мгновенная тишина упала на зал и тут же взорвалась радостным голосом Генералова: «Пахом, умница золотая, дай скорее поцелую!» Генералов обхватил Андреюшкина своими могучими ручищами, прижал к себе.

— Это что там еще за рукопожатия? Прекратить! — бушевал за судейским столом Дейер.

Он устало опустился в кресло, наклонился к Окулову, сказал ему что-то шепотом.

Окулов поднялся, пошевелил бобриком волос, подвигал ушами.

— Объявляется перерыв на двадцать минут, — глухо сказал Окулов и злобно обвел зал глазами. — После перерыва слово для защиты будет предоставлено подсудимому Ульянову.

Саша взглянул на маму. Мария Александровна и Матвей Леонтьевич Песковский смотрели на него пристально и печально, с надеждой.

III

— Слово для защиты предоставляется подсудимому Ульянову.

Мария Александровна, комкая в руке носовой платок, вся подалась вперед, словно хотела пересесть поближе к тому месту, где в окружении судебных приставов находились обвиняемые.

Сашин голос она услышала как бы с очень далекого расстояния, из тумана.

— Господа судьи, относительно своей защиты я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона моего участия в настоящем деле установлена вполне правильно и не отрицается мною. Но, господа судьи, как революционер, как человек, который в своих поступках руководствуется не минутными впечатлениями, а выношенными убеждениями, я не могу ограничиваться только фактической стороной событий. Я должен вскрыть их смысл...

Мария Александровна слушала сына со смешанным чувством гордости и удивления. Неужели это говорит ее Саша? Твердо, умно, убежденно. Всего две недели назад во время первого свидания он плакал, стоя перед ней на коленях, просил прощения, бессвязно и путано говорил о своей вине перед семьей... А теперь? Как революционер... Руководствуясь выношенными убеждениями...

— ...Господа судьи, — голос Ульянова по-прежнему звучал твердо и уверенно, — я повторяю, что не под воздействием минутного увлечения, не под впечатлением единичного случая, а вследствие продолжительного раздумья, вследствие внимательного изучения общественных и экономических наук пришел я к теперешним своим убеждениям. Я убедился, что единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Но по мере того как теоретические размышления приводили меня к этому выводу, жизнь показывала самым наглядным образом, что при существующих условиях, при существующем политическом строе таким путем идти невозможно. При том отношении правительства к умственной жизни, которое у нас есть, невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже пропаганда общекультурная. Затруднена в высшей степени даже элементарная разработка научных вопросов и проблем. Господа судьи, наше русское общество очень ярко и выразительно характеризуется двумя существенными признаками. Оно весьма слабо развито в интеллектуальном отношении, и у нас нет сплоченных классов, которые могли бы сдерживать правительство. У нас есть почти неразвитая интеллигенция, весьма слабо проникнутая массовыми интересами... У нашей интеллигенции нет определенных экономических требований.

У нее есть только свои требования, носительницей и защитницей которых она является. Но ее ближайшие политические требования — это свобода мысли, свобода слова. Для интеллигентного человека право свободно мыслить и делиться мыслями с теми, кто стоит ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность...

Дейер. Вы хотите сказать, что под влиянием именно этих мыслей вы и приняли участие в злоумышлении?

Саша. Я хотел бы по возможности полнее объяснить свои мотивы. Это не так просто.

Дейер. Ну, хорошо... Только будьте предельно кратки и сдержанны в своих объяснениях.

Саша. Постараюсь... Я говорил о том, что потребность делиться мыслями с лицами, стоящими ниже по развитию, есть настолько насущная потребность интеллигентного человека, что отказаться от нее невозможно. Именно поэтому борьба, главным лозунгом которой является требование свободного обсуждения общественных идеалов, то есть предоставление обществу права свободно и коллективно обсуждать свою судьбу, — такая борьба не может быть ведена отдельными лицами, а всегда будет борьбой правительства со всей интеллигенцией. Везде, в любых клас-

сах нашего общества, где есть сколько-нибудь созидательная жизнь, названное мной выше требование, то есть желание свободно обсуждать судьбу общества и его идеалы, везде это требование находит сочувствие. Но наше правительство, уповая на свои физические возможности, игнорирует это требование. Таким образом, правительство совершенно произвольно отклоняется от того правила, которому оно должно следовать для сохранения устойчивого равновесия общественной жизни. Нарушение же равновесия влечет за собой разлад и столкновение. Вопрос может быть только в том, какую форму примет это столкновение...

Дейер. Вы закончили?

Саша. Нет, еще несколько слов... Господа судьи, наша русская интеллигенция в настоящее время настолько слаба физически и не организованна, что не может сейчас вступать в открытую борьбу с правительством и только в террористической форме может защищать свое право на свободу мысли и интеллектуальное участие в общественной жизни. Террор есть та форма борьбы, которая создана девятнадцатым столетием, есть та единственная форма защиты, к которой может прибегнуть меньшинство, сильное только духовной силой и сознанием своей правоты, против сознания физической силы большинства. Русское общество как раз и находится в таких условиях, что только в террористических поединках с правительством оно может защищать свои права... Господа судьи, я много думал над тем соображением, что русское общество не проявляет, по-видимому, сочувствия к террору и отчасти даже враждебно относится к нему. Это недоразумение, потому что форма борьбы здесь смешивается с ее содержанием. К самому террору можно относиться несочувственно, но, пока требование борьбы будет оставаться требованием всего русского образованного общества, его насущной потребностью, до тех пор эта борьба будет борьбой всей интеллигенции с правительством... Конечно, террор не есть организованное оружие борьбы интеллигенции. Это стихийная форма, происходящая лишь от того, что недовольство в отдельных личностях доходит до крайнего проявления. Таким образом, эта борьба не будет чем-то, приносимым обществу извне. Она будет выражать собою не только тот разлад, который рождается самой жизнью и реализуется в форме террористических актов... А те средства, которыми правительство борется против террора, действуют не против террора, а за него. Сражаясь не с причиной, а со следствием, правительство не только упускает из виду причину этого явления, но даже усиливает его...

Отнимая у интеллигенции последнюю возможность пра-

вильиой деятельиости иа пользу общества, то есть свободу мысли н слова, — продолжал Саша, — правительство тем самым действует не только на ум, подавляет не только разум, но и оскорбляет чувства и указывает иителлигенции иа тот едииственный путь, который остается мыслящей частн общества, — на террор... Но ни репрессии правительства, ни озлобление общества не могут возрастать беспредельно. Рано или поздно наступит критическая точка... Террор есть естественный продукт существующего строя. Его не остановишь. Ои будет продолжаться. Ои будет развиваться и усиливаться. И в коице концов правительство вынуждено будет обратить внимание иа причины, порождающие террор...

Он сел. Тотчас, порывисто поднявшись со своего места, ему протянул руку Пахом Андреюшкии. Крепко пожал. Обнял за плечи. Сзади тянулись Осипаиов н Геиералов. Шевырев нервно коснл потерянным, бегущнм взглядом. Остальные сндели неподвижно, опустив головы.

А Мария Александровна Ульянова вдруг почувствовала, что тягостиое, гнетущее состояиие, пршшедшее к ней в начале защитительной Сашиной речи, иеожидаино начинает ослабевать.

— Какой он все-таки глубокий и мужественный человек, — говорнл сбоку шепотом Песковский. — Из таких выходят герои, праведнмки, титаны... И как жалко, что все это выясняется в судебном зале, за решеткой...

Мария Александровна, не выдержав, заплакала.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

Первым уроком была словесность. Федор Михайлович Керенский вошел в класс, как всегда, строгий н сосредоточенный. Служитель нес за директором пачку тетрадей.

Директор взошел на кафедру, опустился на стул, придвинул к себе тетради. Бросил быстрый взгляд поверх очков на Ульянова. (Володя заметил, что теперь все учнтеля начиналн урок с того, что обязательно смотрелн в его сторону, словно ожндали от него чего-то непредвиденного и нежелательного и пытались свонм взглядом это непредвиденное и нежелательное предотвратнть.)

— Сегодня я принес ваше последнее сочинение, — голос Федора Михайловича звучал размеренно и монотонно. — Должен отметить, что в целом с темой сочинения класс справился успешно. Причины возникновения раскола русской православной церкви поняты вами правильно... Гораздо хуже обстоит дело со знанием фактического материала. Почти никто из вас не называет имен руководителей раскола. Даже Ульянов на этот раз изменил своему обыкновению давать дополнительный материал...

— Ульянов, — продолжал Керенский, — какие имена вождей раскола, кроме протопопа Аввакума, вы можете еще назвать?

— Руководителями раскола, кроме протопопа Аввакума, — медленно начал Володя, — были также Никита Пустосвят, Иван Неронов, дьякон Федор... К ним можно отнести и представителей высших кругов: сестер Урусовых, например, одна из которых, старшая, больше известна в истории под именем боярыни Морозовой...

— Почему же вы не упомянули их? — удивленно поднял брови Керенский.

— У меня не было времени переписать. Я прочитал дополнительный материал после того, как подал работу.

— В вашем сочинении есть одно странное место, — откинулся директор на спинку стула. — Вы объясняете борьбу против реформ патриарха Никона недовольством угнетенных классов тем, что усилился гнет государства. Не так ли?

— Да, — ответил Володя, — движение старообрядцев объединяло под религиозной формой протест крестьянства против усиления власти государства.

— Но при чем же тут какие-то угнетенные классы? — Керенский встал со стула, прошелся вдоль доски. — И кого вы вообще имеете в виду под словом «угнетенные»? Беглых, беспоповцев?.. История дает нам совершенно четкий ответ на причины возникновения и распространения раскола... Никон, исправляя церковные книги по греческим образцам, вызвал недовольство прежде всего сельского духовенства, которое из-за своей малограмотности лишалось заработка, так как не могло служить по новым книгам...

— Исправление Никоном богослужебного чина, — твердо сказал Володя, — было, на мой взгляд, только внешним поводом для протеста раскольников. На самом же деле сельское духовенство и вожди старообрядчества потому так легко находили союзников в крестьянской среде, что никонианские реформы увеличивали церковный налог. Новая церковь, чтобы стать надежной

опорой крепнущего государства, нуждалась в средствах. А деньги могли дать только новые налоги.

— Ульянов, — спросил Керенский, возвращаясь на кафедру, — а кстати, почему вы не привели в своем сочинении ни одного ритуального возражения сторонников раскола, которые они выдвигали против официального православия? В чем конкретно заключались эти возражения?

— Старообрядцы настаивали на сохранении двуперстного сложения, — начал Володя, — сугубой аллилуйи вместо троекратной, отстаивали написание слова «Исус» вместо введенного Никоном написания «Иисус»... Но все это были мелкие, формальные расхождения. По своей общественной сути реформы патриарха Никона, перестроившие русскую церковь на иноземный, греческий, лад, были прообразом реформ Петра Великого, которые проводились в интересах нарождающегося русского национального капитала...

— Хорошо, Ульянов, садитесь, — произнес Федор Михайлович и, обращаясь ко всему классу, добавил: — Я так подробно остановился на сочинении Ульянова потому, что допущенные им ошибки характерны и для всех остальных сочинений. Исключением, пожалуй, является сочинение Наумова, который увидел в далеком прошлом нашей родины поучительный смысл и для наших дней...

Керенский смотрел на класс пристально и внимательно. Все знали, что Наумов второй ученик, он шел за Ульяновым вплотную, но, пожалуй, не было еще случая с самого пятого класса, чтобы Федор Михайлович оценил сочинение Наумова выше ульяновского. Значит, директор гимназии решил подчеркнуть, что теперь, когда репутация Володи Ульянова испорчена его старшим братом, пальма первенства переходит к Наумову?.. Интересно, интересно!

— Сочинение на историческую тему, — говорил за кафедрой Керенский, — было дано мною вам не только для того, чтобы выяснить ваши знания по истории, но и для того, чтобы вы смогли продемонстрировать полученное вами в гимназии за восемь лет обучения умение письменного рассуждения о связи минувших дней с настоящими... Наилучшим образом с этой задачей справился Наумов. Не могу не прочитать вам некоторые отрывки из его сочинения, которые показывают, что их автор развил в себе достойные звания выпускника классической гимназии чувства преданности религии и отечеству...

«Мама рассказывала, — вспомнил Володя, — что папу когда-то тоже пытались обвинить в том, что среди его учеников

был Дмитрий Каракозов — первый человек в истории России, покушавшийся на высочайшую жизнь... Но папа публичного отречения от Каракозова никогда не демонстрировал, а вот Федор Михайлович Керенский не выдержал...»

— «...Перед патриархом всея Руси Никоном, — читал директор гимназии сочинение ученика выпускного класса Наумова, — открывалось широкое поле деятельности на благо отечества. Но гордый Никон не внял голосу провидения, за что и был наказан судьбой... Никон происходил родом из нижегородских крестьян, был сельским священником, потом постригся в монахи, стал игуменом Кожозерской пустыни, позже — архимандритом царского Новоспасского монастыря. В 1648 году получил сан митрополита новгородского и сделался ближайшим другом царя Алексея Михайловича. Никон отличался сильной волей, последовательностью в выполнении поставленных задач, крутым и властным нравом. Став патриархом, Никон начал деятельно осуществлять переделку церкви. Он достиг больших успехов, но стремление быть независимым от власти государя не дало ему возможности довести до конца начатое дело... Замыслив захватить полномочия царя, Никон просчитался. Алексей Михайлович сначала прекратил с ним всяческую дружбу, а потом предал суду, который снял с Никона патриаршество и сослал его в Ферапонтов монастырь на Бело-озеро. Здесь Никон и умер в изгнании и безвестности...»

«...Не менее поучительной оказалась судьба и одного из самых яростных противников «никонианской ереси» — протопопа Аввакума, — читал Керенский. — Объединив своей проповедью защитников якобы «истинной веры» и «древнего благочестия», Аввакум Петров в дальнейшем борьбу против никониан соединил в своей раскольничьей деятельности с борьбой с самой монаршей властью, допустив целый ряд оскорбительных выходок против личности Алексея Михайловича в своих сочинениях. За это он был сначала арестован и сослан, но и в ссылке не прекратил своей яростной борьбы с новой церковью и оскорблений в адрес царя. В 1682 году Аввакум Петров за свои выступления против самодержавной власти был пытан на дыбе и публично сожжен на костре по царскому указу за «великие на дом Романовых хулы...». С его смертью раскол разделился на поповщину и беспоповщину, а эти два течения вскоре раздробились на более мелкие — федосеевщину, филипповщину, бегуновщину, нероновщину и другие...»

Раздался звонок. Федор Михайлович снял пенсне, подозвал дежурного и приказал разнести тетради по партам. Потом сошел с кафедры.

— Следующий урок, — сказал директор, укладывая пенсне в черный замшевый футляр, — тоже последний в вашей гимназической жизни. Мне хотелось бы, чтобы на этом уроке каждый из вас назвал своего любимого литературного героя и сказал несколько слов в защиту своего мнения. Подумайте над этими словами. Я попросил дать звонок на пять минут раньше, чтобы у вас было больше времени... Я думаю, что это будет достойным завершением наших с вами занятий и покажет, как каждый из вас научился за восемь лет обучения в гимназии выбирать и защищать свои литературные симпатии.

II

Как только дверь за директором закрылась, к кафедре, подняв над головой руки, требуя внимания, быстро протолкался Наумов.

— Господа, — громко и торопливо заговорил Наумов, — тут вышло недоразумение. Никакого особого смысла я в свое сочинение не вкладывал.

Он подошел к парте, где сидели Ульянов и Кузнецов.

— Ты не обижаешься, Володя? — виновато спросил Наумов.

— Ну вот еще — за что?

— Я совершенно не понимаю, — пожал Наумов плечами, — для чего Керенскому понадобилось сравнивать наши работы...

— Не понимаешь? — Миша Кузнецов нагнулся над партой. — А ты подумай получше, тогда поймешь.

— Это из-за его брата?

Володя быстро встал, посмотрел в окно.

— Может быть, выйдем на улицу? Погода, кажется, теплая.

И первым пошел к двери.

...Володя и Кузнецов спустились в вестибюль, вышли на крыльцо. Сырой ветер принес из Владимирского парка грачиный грай.

— Из Петербурга никаких известий? — спросил Миша.

— Нет, — односложно ответил Володя.

— Керенский, наверное, вызовет тебя сейчас...

— Может быть...

— А что ты будешь говорить? О каком писателе?

— Откровенно?

— Откровенно.

— Я скажу, что мои литературные симпатии принадлежат одному стихотворению Некрасова.

— Какому?

— Угадай...

Володя повернулся к Мише, лицо его стало строгим, голос звучал глухо.

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убеждение, за любовь...
Иди и гибни безупречно,
Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

— «Поэт и гражданин»?

— Да.

— Неужели ты это прочтешь?

— А что? — горько усмехнулся Володя. — Ты же говоришь, что все ждут теперь от меня чего-то необыкновенного.

— Но только не этого...

— А почему? — Володя вызывающе прищурился.

Миша Кузнецов заволновался.

— Я не случайно спросил... Керенский обязательно вызовет тебя. Он же понимает, что переборщил, расхваливая Наумова. Теперь он даст тебе возможность уравняться... Чтобы со стороны все выглядело справедливо.

— Хорошо, я прочту другие стихи.

— Какие?

Володя проглотил подошедший к горлу комок, начал тихо:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен;
Но зато родному краю
Верно буду я известен.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею.

— Добролюбов? — испуганно прошептал Миша и оглянулся. — Предсмертное послание Чернышевскому?.. Ты с ума сошел?

Володя резко повернулся и быстро пошел к гимназическому крыльцу.

Около входа стояло несколько человек из их класса.

— Ну как? — крикнул Костя Гнедков. — Определили свои литературные симпатии?

Володя, ничего не ответив, поднялся по ступенькам и вошел в здание.

III

Предположение Миши Кузнецова начало оправдываться с самого начала. Едва войдя в класс, остановившись у кафедры, Керенский поднял голову.

— Ульянов! — сказал он громко и отчетливо.

Володя поднялся из-за парты.

— Идите сюда, к доске, — Керенский сделал широкий жест рукой, как бы давая понять, что приглашает вызванного ученика не для ответа и не для того, чтобы сделать какого-либо рода внушение, а просто для равноправного дружеского разговора — ведь гимназисты выпускного класса почти уже взрослые люди.

Володя пошел к доске. К нему поворачивались, смотрели с интересом, напряженио, провожали долгими, пристальными взглядами.

Володя вышел к доске. Поправил воротник мундирчика. Вопросительно взглянул на директора.

Всего мгновение они смотрели друг другу в глаза, но за эту сотую долю секунды оба они поняли, что сейчас между ними должно произойти что-то серьезное, значительное и важное, что обнажит их отношения друг к другу до конца, поставит заключительную точку в этих отношениях и, может быть, даже определит дальнейшую судьбу — если не обоих сразу, то, во всяком случае, одного из них обязательно.

Володя понял, что Федор Михайлович будет продолжать взятую им на предыдущем уроке линию подчеркивания своего особого отношения к нему, брату арестованного в Петербурге государственного преступника, стараясь выполнить при этом как бы двоякую задачу: и не слишком проявлять свою власть над ним, всего лишь гимназистом, чтобы не ронять себя в глазах публики и здесь, в классе, и главным образом за его стенами, и в то же время дать понять всем — и в основном за стенами гимназии, — что случай с Александром Ульяновым не оставлен им, Керенским, без внимания, не недооценен, а использован для воспитания необходимых выпускниками гимназии благопристойных и благочестивых качеств. (Собственно говоря, только ради этого и были, наверное, затеяны оба прощальных урока — Володя прекрасно понимал это. Было бы смешно думать, что Керенский, крупнейший чиновник министерства просвещения в По-

волжье, упустит случай лишний раз проявить свою педагогическую «зрелость».)

А преподаватель русской словесности и литературы директор Симбирской классической гимназии Федор Михайлович Керенский увидел в глазах Володи Ульянова новое, неизвестное ему за восемь лет знакомства с этим мальчиком и юношей выражение воинственного отпора и твердого вызова, и это новое выражение возбудило в директоре гимназии противоречивые мысли: с одной стороны, ему необходимо было в соответствующей, не очень тайной, но и не слишком резкой форме акцентировать свое возмущение и свой гнев на совершенном его бывшим учеником государственном преступлении, а с другой стороны, Федору Михайловичу на самом деле хотелось, чтобы тень преступления старшего брата как можно менее болезненно легла на младшего сына его бывшего сослуживца и хорошего знакомого, и чтобы сам Владимир Ульянов, заботясь о своем будущем и будущем своей семьи (а обе эти заботы, по мнению Керенского, были связаны между собой органически), добровольно, естественно, без видимого на то с его, директора, стороны принуждения, тоже в соответствующей форме, и осуждая, и сожалея, высказал бы свое отношение к поступку брата, подтвердив тем самым тонкое его, Керенского, мастерство педагога и воспитателя. Собственно говоря, ради всего этого и умалил на первом уроке директор достоинства сочинения Ульянова, прочитав отрывки из сочинения Наумова. По всем законам самолюбия Ульянову, сочинения которого раньше всегда отмечались Керенским как лучшие, сейчас не терпится восстановить свою репутацию первого ученика. Значит, он охотно воспользуется предложенным перед переменой заданием — рассказать о своем любимом литературном герое и обосновать свои симпатии к нему. А на этом пути и можно будет умело направить его к необходимому результату... Правда, директора несколько насторожило это новое выражение протеста и вызова на лице Ульянова, но, надеясь на немалый свой педагогический опыт, Керенский рассчитывал изменить состояние своего ученика во время ответа... Если бы выполнить все это удалось!.. Федор Михайлович мысленно даже перекрестился.

Заложив руки за спину, Керенский прошелся несколько раз позади вызванного к доске ученика.

— Ульянов, — заговорил наконец директор, стараясь вложить в интонацию своего голоса как можно больше доброжелательности, — на предыдущем уроке, разбирая ваше сочинение, я отметил в общем-то не свойственную вам недостаточную фактическую аргументацию вашей работы... Кроме того, вы недоста-

точно четко подчеркнули связь темы сочинения с теперешней нашей жизнью, с необходимостью извлекать из уроков прошлого выводы для воспитания в себе наипервейших гражданских добродетелей — благонравия, прилежания и постоянного усердия на пользу отечеству... Вы подготовили ответ о вашем любимом литературном герое, который мог бы исправить перечисленные мною недостатки вашей письменной работы?

— Да, подготовил, — волнуясь и не в силах сдерживать свое волнение, дрогнувшим голосом ответил Володя.

— Ну что ж, это похвально. — Керенский снял пенсне и, посмотрев на притихший класс, расценил эту внезапно возникшую тишину как первое проявление задуманного им плана. — Кто же ваш любимый литературный герой? Кто из русских писателей вызывает у вас наибольшие симпатии?

— Из прочитанных мною в последнее время произведений, — Володя подчеркнул голосом слово «последнее», — наибольшее художественное удовлетворение доставил мне...

Глаза Миши Кузнецова были широко открыты от ужаса. «Не надо, не надо! — молча кричал Мишин взгляд. — Случится что-то страшное, кошмарное, непоправимое...» Володя сдвинул брови — Миша опустил глаза. Костя Гнедков смотрел весело, задиристо: давай, Володя, крой до конца, мы с тобой!

— ...наибольшее художественное удовлетворение доставил мне, — твердо повторил Володя, сделал паузу и закончил четко и энергично, как бы давая понять, что мнение это не случайное, а давно обдуманное, — роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети»!

— Постойте, Ульянов, — сделал нетерпеливый жест рукой Керенский. — Мое задание сводилось к тому, чтобы вами был назван любимый литературный герой...

— Я как раз подхожу к этому, — Володя почувствовал вдруг, что внутри у него освобождается какая-то новая энергия, которая была скована и зажата весь первый урок и всю перемену: — Мой любимый литературный герой — Базаров...

— Нигилист Базаров — ваш любимый герой? — Керенский смотрел на Ульянова холодно и надменно.

— Я не разделяю характеристику Базарова как нигилиста, — возразил Володя.

— Такую характеристику ему дает сам автор, — поджал губы Керенский. — Что же, у вас есть свой вариант романа, написанного Тургеневым?

— У меня есть свое мнение относительно правильности характеристики, данной Тургеневым своему герою.

Керенский поднялся на кафедру, сел.

— Ну что ж, попробуйте и нас убедить в правильности своей критики фигуры Базарова. Такой поворот, пожалуй, тоже входит в существо предложенного вам задания...

IV

— Прежде всего мне хотелось бы сказать, — начал Володя, — что роман Тургенева «Отцы и дети» — произведение сугубо современное, в нем выведены типы сегодняшнего дня, встречаемые нами на каждом шагу. Главный герой романа Евгений Базаров нравится мне потому, что это сильный и суровый человек. Он окончил университет по естественному факультету, и прослушанный им курс естественных и медицинских наук отучил его принимать только на веру какие бы то ни было понятия и убеждения. Он сделался чистым эмпириком — только опыт стал для него источником познания окружающей жизни... Базаров работает много, неутомимо и целеустремленно. Его не занимают те мелочи, из которых складываются обыденные людские отношения, заурядная человеческая жизнь... Ему чужда слезливая мечтательность, потому что он великий труженик, а за работой мечтать нельзя — все внимание сосредоточено на деле. таким образом, это чистейший материалист, пролетарий-труженик, в котором труд постоянно сближает дело с мыслью, акт воли с актом ума.

— Послушайте, Ульянов, — перебил Володю Керенский и сделал резкое движение головой, чувствуя, что он, как, кажется, и весь класс, вдруг ощутил себя в какой-то странной подчиненности словам и мыслям этого рыжеволосого крупноголового юноши в синем гимназическом мундире со столь привычными директорскому глазу девятью посеребренными пуговицами, — послушайте, Ульянов, вы же взялись опровергать Тургенева, а на самом деле просто пересказываете содержание...

— Это необходимые объяснения, Федор Михайлович, — сказал Володя.

«Господи, — растерянно подумал Керенский, — да что же это такое? Семнадцатилетний мальчишка собирается возражать одному из лучших писателей России... Меня этот мальчишка почему-то называет не господином директором, а по имени и отчеству. Что происходит? Урок литературы или сеанс гипноза?..»

— Продолжайте, — коротко сказал Керенский и почувствовал, как по классу незримо прокатилось одобрительное по поводу его разрешения движение.

Володя переступил с ноги на ногу.

— Нарисовав своего героя со столь многими привлекательными внутренними качествами, Тургенев внешне изобразил Базарова со всей доступной его таланту непривлекательностью и неприязнью. Вот здесь и начинаются мои возражения господину Тургеневу. Взяв живой тип молодого человека, столь характерный для современной молодежи с ее стремлениями к естественным, точным, а не отвлеченным и схоластическим знаниям, с ее тягой к реализму, передав нам правдоподобно и точно нравственный мир этого современного молодого человека, Иван Сергеевич Тургенев нарочито изобразил своего героя внешне крайне непривлекательным, почти отталкивающим, циничным, бесчувственным человеком, у которого якобы нет никакой высокой цели в жизни. Создав тип молодого человека с кругом идей, в которых отражаются наиболее характерные настроения сегодняшней молодежи, Тургенев с весьма легко раскрываемым читателем замыслом поместил эти идеи в голову и характер самого неграциозного, самого грубого, самого оскорбляющего эстетический вкус среднего читателя человеческого экземпляра. Он словно хочет сказать: смотрите! — если так карикатурна, так непривлекательна внешность этого молодого человека, то, следовательно, так же карикатурны и непривлекательны те идеи, которые он исповедует и которые воплощены в нем... А это неправда! Я знаю людей, которые, подобно Базарову, увлекаются химией, любят резать лягушек и червей, потрошат бурундуков и белок... И они совсем не так грубы, карикатурны внешне, как Базаров. Сходясь с Базаровым по внутренним убеждениям, внешне они ничего общего с ним не имеют. Как и все мы, они ничем не выделяются из среды обыкновенных людей, разве только повышенной сосредоточенностью на своих идеях и мыслях. И они вовсе не циничны. Жизнь этих людей подчинена высоким целям служения на пользу отечества...

— Нигилист, отрицающий все и вся, не может принести пользы отечеству! — непререкаемо произнес с кафедры Керенский.

— А таким людям совершенно не подходит определение «нигилист»! — лицо Володи было красно от возбуждения, волосы взъерошены, глаза блестели страстно и убежденно. — И господин Тургенев абсолютно напрасно пытается соединить их с этим словом!

— Позвольте, Ульянов, — вытянул руку Керенский, — но вы же начали с того, что объявили Тургенева своим любимым писателем? Как соединить ваши противоречивые рассуждения?

— Писателя, по-моему, можно любить не только за то, что сходишься с ним во всех мнениях, — сказал Володя, упрямо на-

клонив голову, — но и за те мысли, которые он в тебе возбуждает, изображая картины и сцены, с которыми ты сам не согласен.

— Пожалуй, пожалуй, — согласился Керенский, с удивлением ловя себя на мысли, что при всей формальной непедагогичности слов Ульянова, трудно что-либо возразить этим словам перед лицом целого класса, чтобы, оставшись в границах назидательности, не выглядеть в то же время откровенным ханжой. — Так вы закончили свои объяснения?

— В заключение я хочу сказать только одно, — Володя перевел взгляд с директора на класс, как будто хотел подчеркнуть, что все высказанное им говорилось не только для одного Керенского, но и для всех остальных. — Стараясь наделить Базарова различными внутренними и внешними качествами, Тургенев допустил ошибку против существующего в жизни типа молодого человека подобного образа мыслей и действий. Тургенев решил подчинить принципы художественного воплощения жизни своим симпатиям и антипатиям, а это не может не вызывать возражения у серьезного, объективного читателя... И тем не менее, созданный им образ Евгения Базарова остается моим любимым литературным героем, так как это вовсе не нигилист, вопреки определению самого Тургенева, а живой представитель современной молодежи, который будит мысли и зовет к серьезному размышлению.

— Ответ Ульянова, — начал Керенский, — можно отметить только в той его части, где ответ этот намечал самостоятельный ход мысли. Независимость рассуждений, безусловно, похвальное свойство ума, но только в том случае, когда эта независимость самостоятельна от начала и до конца... В данном случае осведомленный о предмете разговора слушатель постепенно вспоминает тот источник мнений, которым руководствовался Ульянов в составлении своих суждений о романе Тургенева «Отцы и дети»...

В классе кашлянули. Керенский вопросительно поднял голову. Над партой Наумова поднялась рука.

— Ты хочешь что-нибудь сказать? — спросил Керенский.

— Да.

— Хорошо, иди к доске.

Наумов одернул мундирчик, подошел к кафедре, заложил руки за спину.

— Прежде всего мне хотелось бы сказать, — интонация Наумова была уверенная, энергичная, — что, восхищаясь образом Базарова, выражая ему всяческие похвалы, Ульянов развивал мысли критика Писарева...

— А я и не собираюсь скрывать этого! — крикнул с места Володя. — Я это сделал сознательно!

— Ульянов, успокойтесь! — поднял руку Керенский.

«Наумов понял меня, — подумал про себя Керенский. — Он сообразил, что должен сказать то, чего не договорил я».

— Теперь мне тоже хочется сказать о своем любимом герое, — Наумов посмотрел на директора и, получив разрешение, заговорил порывисто и быстро, словно боялся, что его оборвут на полуслове. — Как ни странно, но мои литературные симпатии сходятся со вкусом Володи Ульянова. Я тоже считаю роман Тургенева «Отцы и дети» самым талантливым произведением нашей современной литературы о молодежи. Но там, где Ульянов видит недостатки этой книги, я вижу ее достоинства... Ульянов говорил, что Базаров, даже вопреки точной авторской характеристике, не является нигилистом. А кто же он тогда, спрашивается? По мнению Базарова, поэзия — ерунда, читать Пушкина — напрасно потерянное время, заниматься музыкой — смешно, любоваться природой — нелепо. Базаров все рубит сплеча, что не по нем — так все это плохо и никуда не годится! А что он любит сам? Лягушек потрошить, да червей собирать, да смеяться над всеми людьми подряд. И ни за что он не берется, никаких положительных начал не отстаивает. У него и цели-то в жизни настоящей нет. Поэтому в конце романа Базаров и умирает, так как ему с его выдуманными убеждениями нет места в реальной жизни. Как правдивый художник, Тургенев понимает, что Базаров не жилец на белом свете, и выносит ему свой приговор...

— А заодно и этой жизни, — тихо сказал Володя.

Наумов посмотрел на директора — отвечать на последнюю реплику Ульянова?

Керенский встал.

— Господа, — сказал Керенский голосом, который, по его мнению, наиболее подходил к этой торжественной минуте, — мы с вами закончили курс русского языка и словесности. Сегодняшние ответы лучших учеников класса Ульянова и Наумова показали, что вы научились глубоко анализировать художественные произведения, что вы умеете для своих рассуждений привлекать дополнительный материал, не ограничиваясь только учебной программой. Это похвально. Это говорит о том, что в своей дальнейшей учебе и практической деятельности на пользу обществу вы будете руководствоваться не только тем, что от вас будут требовать, но и будете стараться приносить людям дополнительное благо, конкретный размер которого вы определите каждый в соответствии со своими возможностями...

«Удался ли тот план, который был замыслен сегодня? — по-

думал про себя Керенский. — И да и нет... Но, пожалуй, теперь ни у кого не вызовет возражения распределение медалей: Ульянову — золотую, Наумову — серебряную...»

Директор посмотрел на часы. До звонка осталась одна минута. «Многие ли расслышали последнюю реплику Ульянова? — подумал Керенский. — Кажется, нет... Определенно ее понял только один Наумов. Но он юноша рассудительный, и, если дать ему понять, что вторая медаль останется за ним, можно будет и не придавать особого значения последним словам Ульянова... Да, пожалуй, Наумов уже понял, что получит вторую медаль. Ведь я же назвал его сегодня вторым лучшим учеником... Да, можно не беспокоиться. Можно оставить слова Ульянова пока без последствий».

В коридоре зазвенел звонок.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Суд идет!

Шум в зале. Движение на скамье подсудимых.

Первоприсутствующий Дейер шествует медленно, важно, словно направляется на процедуру, имеющую целью двинуть вперед развитие человечества.

В затылок за ним — Окулов.

Остальные идут гурьбой, без соблюдения чинов и званий.

— По указу Его Императорского Величества, — читает Дейер приговор, — Правительствующий Сенат в Особом Присутствии для суждения дел о преступлениях государственных в составе:

господин первоприсутствующий сенатор Дейер;

господа сенаторы Окулов, Лего, Бартенев и Ягн;

предводители дворянства:

тамбовский губернский — господин Кондоиди,

санкт-петербургский уездный — господин Зейфарт,

московский городской голова — господин Алексеев,

котельский волостной старшина — господин Васильев,

при исполняющих обязанности обер-секретаря Ходневе и помощника обер-секретаря Шрамченко,

а также в присутствии исполняющих обязанности прокурора при Особом Присутствии Правительствующего Сената обер-прокуроре Неклюдове и товарище обер-прокурора Смирнове,

слушал с 15 по 19 апреля сего 1887 года дело о дворянине

Снмбирской губернии Ульянове Алексаидре Ильиче н других, в числе пятнадцати лиц, преданных суду Особого Присутствия на основании 1032, 1061 (часть первая) и 1063 (часть третья) статей устава уголовиого судопронзводства по обвнинению Ульянова н с ним четырнадцати лнц в принадлежностн к преступному сообществу и посягательстве на жизнь священной особы государя императора...

На основании дознания, пронзведенного по статье 1035 (часть вторая) устава уголовного судопроизводства, актам которого в силу высочайшего повелеиия от 28 марта сего года присвоены сила и значение актов предварительного следствия, четырнадцать обвиияемых, а именно:

Ульянов Александр,
Шевырев Петр,
Осипанов Василий,
Андреюшкин Пахомий,
Генералов Василий,
Канчер Михаил,
Горкун Петр,
Волохов Степан,
Лукашевич Иосиф,
Новорусский Миханл,
Пилсудский Бронислав,
Пашковскнй Тит,
Анаиьина Мария,
Шмидова Ревекка

обвиияются в том, что, принадлежа к преступному сообществу, нмеиующему себя «террористической фракцней партии «Народная воля», и действуя для достижеиия его целей, согласилнсь между собой посягнуть иа жизнь священной особы государя нмператора и для прнведения сего злоумышления в исполиенне изготовилн разрывные метательные снаряды, вооружнвшись которыми некоторые нз соучастников, с целью бросить означенные снаряды под экипаж государя нмператора, неоднократно выходнли на Невскнй проспект, где, не успев прнвести злодеяиия в нсполнение, были задержаны 1 марта сего 1887 года.

Подсуднмая Сердюкова Анна обвиняется в том, что, узнав от одиого из участников злоумышлеиия о задуманном посягательстве на жизнь священной особы государя императора и нмея возможность заблаговременно довести о сем до сведения властей, не нсполнила этой своей обязанности.

Ввиду изложенных выше обстоятельств все означенные лица

преданы суду по обвинению в преступлениях, предусмотренных 241 и 243 статьями Уложения о наказаниях.

На дознании и судебном следствии собранными посредством обысков и осмотров письменными доказательствами, показаниями свидетелей, а также благодаря личным признаниям некоторых подсудимых, которые соответствуют обстоятельствам дела, установлено, что

Подсудимый Шевырев принес на сходку двадцатого ноября прошлого года гектографированную прокламацию с террористической угрозой правительству и распоряжался рассылкой этой прокламации по им же составленному списку адресов... Вместе со студентом университета Орестом Говорухиным Шевырев руководил всем делом посягательства на цареубийство; в частности, он дал деньги подсудимому Генералову на устройство конспиративной квартиры с целью хранения на ней взрывчатых веществ, устроил поездку Канчера в Вильну за материалами для разрывных снарядов, а по изготовлении бомб объявил членам фракции о решении совершить злодеяние... Шевырев уговорил Канчера принять на себя роль сигнальщика, а также поручил последнему сделать такое же предложение Волохову и Горкуну... Доведя дело посягательства на жизнь священной особы государя императора до сего момента и считая покушение вполне подготовленным, Шевырев, в связи с участившимися у него приступами чахотки, выехал семнадцатого февраля сего года из Петербурга в Крым... Начиная с седьмого марта, то есть со дня его задержания в Ялте, Шевырев отрицал все обстоятельства своей принадлежности к заговору, но на суде, ввиду неопровержимости предъявленных ему улик, признал свою вину и действительность всех обстоятельств обвинения. В свое оправдание Шевырев представил совершенно неправдоподобные объяснения. Он утверждал, что якобы никогда не сочувствовал ни террористическому направлению вообще, ни замыслу на жизнь государя в частности. Шевырев заявил, что он не заметил будто бы террористической угрозы в составленной им прокламации и что, не веря в возможность цареубийства, он только лишь передавал поручения Говорухина остальным членам фракции, надеясь за это получить через посредство Говорухина деньги, необходимые ему, Шевыреву, для легальных благотворительных дел. Все эти объяснения Шевырева являются ложными и материалами дела опровергаются.

...Подсудимый Ульянов полностью признался в том, что принимал участие как в составлении прокламации двадцатого ноября прошлого, 1886 года, так и в составлении новой, вполне

террористической программы и в печатании оной двадцать восьмого февраля и первого марта сего года... Ульянов полностью признал себя виновным в посягательстве на жизнь священной особы государя императора. Материалами дела и судебным следствием установлено участие Ульянова во всех этапах заговора. Его агитаторская деятельность ускорила решение нескольких лиц принять участие в покушении; он изготовлял взрывчатые вещества для динамитных снарядов и сами снаряды; он напутствовал главных участников покушения на последней сходке членов террористической фракции двадцать пятого февраля сего 1887 года... Таким образом, роль Ульянова как одного из главных организаторов и участников заговора вырисовывается вполне ясно и четко, и ни на одной ступени судебного разбирательства самим подсудимым ни разу не отрицалась. По изложенным выше основаниям Особое Присутствие Правительствующего Сената определяет подсудимых

Шевырева, 23 лет,
Ульянова, 21 года,
Осипанова, 26 лет,
Андреюшкина, 21 года,
Генералова, 20 лет,
Волохова, 21 года,
Канчера, 21 года,
Горкуна, 20 лет,
Пилсудского, 20 лет,
Пашковского, 27 лет,
Лукашевича, 23 лет,
Новорусского, 26 лет,
Ананьину, 38 лет,
Шмидову, 22 лет,
и Сердюкову, 26 лет,

лишив всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через *повешение*.

Сухо и кисло стало во рту. Земля пошла из-под ног. Руки сделались ватными, непослушными. Морозные иглы тронули кончики пальцев, колени...

...но ввиду обнаружения в судебном заседании особых обстоятельств, а именно:

в отношении Канчера, Горкуна и Волохова — их возраста, близкого к несовершеннолетию, их чистосердечного раскаяния и

содействия следствию в самом начале дознания как в раскрытии самого преступления, так и в выявлении его участников;

в отношении Ананьиной — оказанного на нее сильного нравственного давления со стороны находившихся с нею в родственных и близких отношениях участников преступления;

в отношении Пилсудского — несовершеннолетия, собственного сознания, чистосердечного раскаяния и указания участников злоумышления;

в отношении Пашковского — отдаленного участия в преступлении;

в отношении Шмидовой — участия ее, не представлявшегося необходимым для совершения преступления;

и в отношении Сердюковой — собственного сознания, добровольного открытия таких обвиняющих ее обстоятельств, которые без ее признания не могли бы быть обнаружены, а также неопределенности полученных ею сведений о готовящемся злоумышлении;

ввиду обнаружения судом всех этих особых обстоятельств Особое Присутствие Правительствующего Сената находит возможным ходатайствовать через господина министра юстиции перед Его Императорским Величеством о замене поименованным выше подсудимым смертной казни через повешение следующими сроками наказания:

Канчеру, Горкуну, Волохову и Ананьиной — каторжными работами на двадцать лет,

Пилсудскому — каторжными работами на пятнадцать лет,

Пашковскому — каторжными работами на десять лет,

Шмидовой — ссылкой на поселение в отдаленнейшие места Сибири,

Сердюковой — тюремным заключением на два года...

Все судебные издержки по данному делу, согласно 3 пункту 776 статьи устава уголовного судопроизводства, возложить на осужденных поровну, с круговой друг за друга ответственностью и с принятием таковых на счет казны при несостоятельности осужденных...

Представить настоящий приговор через господина министра юстиции на утверждение его императорского величества в отношении лишения осужденных

Ульянова Александра,
Горкуна Петра,
Пилсудского Бронислава,
Пашковского Тита,

Лукашевича Иосифа,

а также сына надворного советника Канчера Михаила

и кандидата духовной академии Новорусского Михаила,

первых пяти — дворянских званий, остальных — присвоенных им по их состоянию прав и преимуществ...

Приговор подписали:

Председатель суда первоприсутствующий сенатор Дейер — собственноручно.

Сенаторы:

Окулов — собственноручно,

Лего — собственноручно,

Бартенев — собственноручно,

Ягн — собственноручно.

Предводители дворянства:

тамбовский губернский Кондоиди — собственноручно,

санкт-петербургский уездный Зейфарт — собственноручно,

московский городской голова Алексеев — собственноручно,

за котельского волостного старшину Васильева (ввиду недомогания последнего) приговор подписал обер-секретарь Особого Присутствия Правительствующего Сената Ходнев.

Приговор скреплен свидетельствами

помощника обер-секретаря Шрамченко,

исполняющего обязанности прокурора при Особом Присутствии обер-прокурора Неклюдова,

товарища обер-прокурора Смирнова.

Составлен апреля 19 сего 1887 года в Санкт-Петербурге.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

I

— Мама, мамочка, мамочка!..

— Саша, Сашенька, мальчик мой!..

— Прости, мамочка, прости...

— Мальчик мой бедный, ну что ты, что ты...

— Мне так больно было за тебя...

— Не надо, сынок, не надо...

— Тебе тяжело было слушать меня, я понимаю...

— Не надо, Сашенька, не надо...

— Я не мог по-другому... Нужно было сказать о наших взглядах, дать бой прокурору.

— Он учился у папы...

— Я знаю...
— Я хотела встретиться с ним до суда...
— Ни в коем случае, мамочка...
— Теперь уже поздно...
— Он негодяй, карьерист, он причинил бы тебе только лишнюю боль.
— Я была у Таганцева, Саша...
— Кто это?
— Профессор университета, криминалист... Он был знаком с папой в Пензе.
— А для чего, мамочка?
— Он написал мне записку к Фуксу...
— Фуксу?..
— От Фукса зависело разрешение на свидание...
— Зачем ты ходишь к ним, мамочка?
— Николай Степанович Таганцев — очень порядочный человек. Он обещал помочь.
— В чем же?
— Он обещал отдельно устроить твое прошение.
— Мое прошение? О чем?
— О помиловании, Сашенька.
— Но я не подавал прошения.
— Надо это сделать, Сашенька.
— Мама, это невозможно.
— Невозможно? Почему?
— Я не имею права подавать прошение.
— Почему, Сашенька, почему?
— Это противоречило бы моему выступлению на суде.
— Но ведь речь идет о твоей жизни, Саша!
— Я не могу.
— Сашенька, милый, я прошу тебя...
— Нет, нет, это невозможно!
— Сашенька, мальчик мой!
— Мама, не надо, не надо...
— Я умоляю тебя, Саша...
— Мама, не плачь. Я не подам прошения.
— Да почему же, Сашенька, почему? Все уже подали...
— И Осипанов?
— Осипанов — нет.
— А остальные все?
— Почти все.
— Кто же еще не подал?
— Кажется, Генералов...
— А еще?

— Андреюшкин...

— Молодцы!

— Саша, объясни мне, почему ты не хочешь?

— Мамочка, да ведь на суде я говорил, что террор — историческая закономерность.

— Ну и что же?

— А если я прошу о помиловании, значит, я отказываюсь от своих слов.

— Какая же здесь связь, Саша?

— Мы вызвали царя на дуэль. Наш выстрел не удался. Теперь очередь за царем.

— Сашенька, ну зачем ты так говоришь?

— Я сказал в своем последнем слове: убийство царя — общественная необходимость, диктуемая противоречиями развития русской жизни. Выходит, приговор подействовал на меня так сильно, так напугал меня, что я меняю свое мировоззрение.

— Саша, я прошу тебя...

— Я не могу изменить свои взгляды за несколько дней.

— Да ведь речь идет не о взглядах, а о приговоре.

— Нет, мама. Я говорил на суде от имени всей нашей группы. Поэтому именно моя просьба о помиловании будет самой неискренней. Я не хочу просить царя ни о чем.

— Но ты же будешь просить не о том, чтобы тебя простили совсем...

— Любая просьба к врагу — унижение.

— ...а только о том, чтобы тебе заменили... смертную казнь.

— А чем ее могут заменить? Шлиссельбургом? Пожизненным заключением?

— Это было бы счастье.

— Но ведь это ужасно, мамочка. Гнить заживо, разлагаться духовно. Ведь там и книги-то дают только церковные. До полного идиотизма дойдешь... Неужели ты хотела бы этого для меня, мама?

— Потом можно было бы просить о каторге, о Сибири...

— Цари своих личных врагов в Сибирь не отпускают.

— Я бы использовала все связи.

— Цари любят держать их рядом с собой — в Петропавловке, например... Чтобы встать утром в Зимнем дворце, выглянуть в окно и убедиться — все в порядке.

— Сашенька, сынок, ты еще молод, твои убеждения могут измениться...

— Нет, мамочка, нет. Я уже примирился со своей участью. Примирись и ты.

— Ничто в жизни не вечно, Саша. Меняются времена, нравы, обстоятельства, бывают амнистии...

— Мама, ты всегда учила меня быть честным, поступать сообразно со своей совестью. Зачем же сейчас...

— Прости, Саша. Но я мать... Я не вынесу этой муки...

— Мамочка, у тебя есть младшие: Володя, Оля, Митя, Маняша. Скоро выпустят Аню...

— Нет, Сашенька, нет! Я не переживу твоей смерти... Нет, нет, нет!

— Мамочка, не плачь, не надо...

— Пожалей меня, Саша. Посмотри, за этот месяц я стала совсем белая...

— Мамочка, мама, не надо...

— А что будет дальше, когда...

— Мамочка, не плачь...

— Я умоляю тебя, Саша... Именем папы прошу...

— Нет, мама, я не могу... Не могу... Не могу.

— Сашенька, Сашенька, Саша...

— Не плачь, мамочка...

— У тебя тоже слезы... Возьми мой платок... Дай я сама вытру...

— Мама, прости меня, прости...

II

— Саша, вы делаете огромную, непоправимую ошибку.

— Ошибку? Разве в моем положении можно еще делать ошибки?

— Конечно, можно.

— Нет, приговоренный к смерти не может делать ошибок — он прав во всем.

— Зачем же заранее делать из себя покойника?

— Матвей Леонтьевич...

— Извините... Но вспомните свою мать! На что она стала похожа!

— Это моя мать.

— Да, это ваша мать... Но я-то, я, муж вашей всего лишь двоюродной сестры, — почему я должен беспокоиться о здоровье вашей матери больше, чем ее собственный сын?!

— Матвей Леонтьевич, я не уполномочивал вас на это.

— Уполномочивал!.. Да вы посмотрите на свою мать. Ведь никаких же сил у нее больше не осталось! Ведь за рассудок ее страшно!

— Матвей Леонтьевич...

— Год назад похоронила мужа, осталась с шестерыми на руках...

— Матвей Леонтьевич...

— Вся надежда на старших, оканчивающих курс...

— Вы пришли упрекать меня?

— ...и вот новость: оба старшие арестованы!

— Я не желаю больше разговаривать на эту тему. Слышите, не желаю!

— Сына этой несчастной матери приговаривают к смерти...

— Не вынуждайте меня к резким словам.

— Он может спастись — и не хочет!

— Матвей Леонтьевич...

— Да, да, да! Я Матвей Леонтьевич уже много лет! Но с таким, извините, глупым упрямством, как ваше, сталкиваюсь впервые!

— Вы не хотите понять, что убеждения...

— Ну где уж мне, дураку! Я всего лишь литератор, каких-то полтора десятка лет печатающийся в столичных журналах...

— Я не это имел в виду.

— Разве могу я понять всю глубину мыслей современного студента четвертого курса?

— Матвей Леонтьевич, не иронизируйте.

— Саша, дорогой мой, но как же ты не можешь сообразить, что речь впрямую идет о жизни твоей матери!

— Маме очень плохо?

— Она все время лежит. Жизнь уходит из нее на глазах...

— ...

— Она уже не похожа на живого человека. Она вся высохла, остались кожа да кости...

— ...

— В конце концов, подумай о младших братьях и сестрах. Они остались без отца. А если останутся и без матери?

— ...

— Твой прямой долг перед семьей — написать прошение о помиловании.

— Кроме долга перед семьей, есть долг перед родиной.

— Мальчишество! Перед виселицей не рассуждают о высоких материях! Перед виселицей делают все, чтобы сохранить жизнь!

— Все-таки вы не хотите понять меня... Я не буду просить царя о помиловании. Для меня счастье — умереть за свой народ, за свои убеждения, за будущее своей родины.

— Нет, вы только послушайте его! Счастье умереть...

— Бывает и такое счастье. Если умирать приходится за высокое и светлое дело.

— Счастье — жить! В жизни, в деятельности заключается счастье.

— А если невозможно жить в согласии со своей совестью? Если каждый день возмущается сердце, вскипает разум? Если на каждом шагу существующие порядки оскорбляют человеческое достоинство?

— И поэтому нужно уходить из жизни?

— Вы прекрасно знаете, что мы боролись. Пробовали бороться. Нам не повезло...

— Я понимаю, что это почти неприемлемо для тебя. Но младшие, младшие!.. Не забывай о них.

— ...

— Мама уже не смогла сегодня прийти на свидание. Она медленно умирает. Мне с огромным трудом удалось добиться разрешения прийти вместо нее.

— ...

— Подумай, если она после твоей казни лишится рассудка или серьезно заболеет, как все это отразится на младших?

— ...

— Ты должен сделать все, чтобы отвратить от семьи хотя бы это несчастье...

— ...

— Пусть это будет противоречить твоим убеждениям, пусть это будет нравственно неприемлемо для тебя, но сделай это не для себя — для других, уменьши страдания близких тебе людей, причиной несчастья которых ты являешься. Разве это не оправдает нарушение твоих взглядов?

— ...

— Умоляю, Саша, не для себя — для них. Ведь это же чисто, высоко, благородно — делать добро другим. Ты всегда жил по этим законам.

— Хорошо... Что я должен сделать?

— Вот бумага, перо и чернила. Вот образец прошения, поданного другими осужденными и признанного министром достойным быть представленным на высочайшее рассмотрение...

— Матвей Леонтьевич, оставьте меня на несколько минут одного.

— Конечно, Сашенька, конечно. Я побуду в комнате дежурного надзирателя... Полчаса тебе хватит?

— Хватит.

III

Когда дверь за Песковским захлопнулась, Саша опустился на стул и, вздохнув, задумался. Слова Песковского о долге перед семьей, о болезни мамы нарушили привычное состояние, возникла неопределенность, растерянность. Что было делать? Он не знал. Писать прошение и тем самым потерять то равновесие, которое родилось после заключительной речи на суде? Или не писать, а позволить всем словам, сказанным сегодня Песковским, войти в сердце и в душу и отравить последние дни и часы жизни горькими раздумьями о вине перед мамой, о будущих неудобствах, которые возникнут в жизни у младших братьев и сестер из-за родственной связи с участником покушения на царя?

Саша придвинул оставленный Песковским «образец» прошения. Рукой Канчера на помятом гербовом листе бумаги было написано:

«...Всепросветлейший, Державнейший Государь-Самодержец!.. Несколько раз брался за перо, но оно выпадает из рук, и у меня не хватает сил, чтобы высказать Вашему Императорскому Величеству то, что мне говорит мое сердце... Несчастный случай ввел меня в такую среду товарищей, которые сделали меня ужасным преступником. Я теперь сознаю это сам и ожидаю заслуженной смертной казни. Но у меня еще есть те чувства, которые даны Богом только человеку; эти чувства на каждом шагу преследуют меня, злодея-преступника, и я, припав к стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше прошу позволения высказать те глубоко засевшие в мою душу слова, которые скажу я, умирая. Я не революционер и не солидарен с их учением, я всегда был верным подданным Вашего Императорского Величества и сыном дорогого Отечества. Мысль моя всегда была направлена к тому, чтобы быть верным и полезным слугой Вашего Императорского Величества и оправдать это верной и преданной службой Вашему Императорскому Величеству... Если же я и был сообщником злонамеренного преступления, то в это время я находился, по всей вероятности, в состоянии, совершенно непонятном для самого себя, и объясняю все это своим временным болезненным умопомрачением... Недостойный верноподданный Михаил Никитин Канчер».

...Когда Песковский вернулся через полчаса в камеру, Саша сидел, устало откинув к стене голову и закрыв глаза. На столе рядом с «образцом» Канчера лежал исписанный наполовину лист. Песковский взял лист и прочитал:

«Ваше Императорское Величество. Я вполне сознаю, что характер и свойство совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении и облегчении моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так необходима и драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиною смерти моей матери и несчастья всей моей семьи. Александр Ульянов».

— Это ужасно, Александр Ильич, просто ужасно!

— В чем дело?

— Ну разве можно быть таким наивным человеком?

— Да в чем дело? Объяснитесь.

— Вы совершенно неправильно написали прошение. Я же оставил вам образец.

— До образца такого кретинизма и самоунижения я не опустился бы никогда.

— Но в таком виде, как написали вы, подавать прошение бессмысленно.

— Почему?

— Потому что существует установленная форма обращения на высочайшее имя.

— Установленная форма глупости и раболепства?

— Да не будьте, в конце концов, ребенком! И что это за подпись такая — Александр Ульянов? Не верноподданный, а просто Александр Ульянов... Александру Третьему совершенно запросто пишет Александр Ульянов! Никто и не будет двигать это прошение по инстанциям.

— Никаких других бумаг я писать не буду.

— Но министр юстиции испугается даже показывать царю это дерзкое прошение.

— Больше я ничего писать не буду.

— Вы опять за свое?

— Вот что, Матвей Леонтьевич!.. Вы, конечно, старше меня и имеете вес в обществе как писатель и публицист. Но у каждого человека есть свои представления о границах чести...

— Но я же бьюсь за вашу жизнь! За вашу.

— Вы и так заставили меня пренебречь своей гордостью, за-

ставили писать чуждые мне и тягостные слова. Но больше испытывать мое терпение я вам не советую!

— Успокойся, Саша, успокойся!

— Вы доставили мне нравственное страдание, уговорив написать эту бумагу. Вы толкаете теперь меня на еще более низкий поступок. Этого не будет!

— Тише, Сашенька, тише...

— Вам с вашим обывательским складом мышления до сих пор все еще непонятно, что своими разговорами о будущих несчастьях моих братьев и сестер вы причиняете мне, может быть, самую горькую душевную боль! Вы доставляете мне нравственную пытку!

— Успокойся, Саша, успокойся!

— Я не напишу больше ни одного слова!

— Хорошо, я подам твое прошение в том виде, в каком ты его написал. Но скажу заранее — надежды на успех мало.

— А я не верю в успех вообще ни одного прошения. Даже самого верноподданного.

— И потом пойми меня правильно, Саша... Я вовсе не хочу заставлять тебя совершать что-то низкое, подлое. Ты ведешь себя мужественно, стойко, как герой, — я завидую твоему самообладанию. Но ведь есть мать и младшие... Я же не для себя — для них стараюсь.

— Ни мать, ни Аня, ни младшие никогда не потребовали бы у меня купить жизнь ценой измены своим идеалам. Наоборот! Пусть моя верность идеалам будет им необходимым подспорьем, если жизнь все-таки обречет их на испытания из-за родства со мной.

— Извини меня, Саша, за неприятные минуты, которые я тебе доставил сегодня...

— И вы тоже... простите за резкость.

— Ну, прощай!

— Прощайте, Матвей Леонтьевич.

— Нет, ты все-таки молодец! Такой твердости я от тебя, признаться, не ожидал.

— Не надо сейчас об этом.

— Ну, прощай!

— Прощайте.

— Может, и не увидимся больше...

— Может быть.

— Прощай...

— Ну зачем же плакать, Матвей Леонтьевич? Это же закон природы, борьба...

— Ты молодец, Саша, молодец... Ты герой...

— Не забывайте наших, Матвей Леонтьевич. Маме помогите, пожалуйста. И младшим тоже... Володе в этом году в университет.

— Я помогу ему... Я расскажу о тебе... И Мите тоже.

— Спасибо.

— Поцелуемся?

. . . .

— Прощай, Саша.

— Прощайте.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

...Восемьсот девяносто шесть, восемьсот девяносто семь, восемьсот девяносто восемь, восемьсот девяносто девять...

«Сейчас заиграют колокола», — подумал Саша, оборвав счет.

Тишина. Мертвая тишина. Нигде не слышно ни единого звука. Где-то прогремел ветер на железной крыше. И опять тишина...

«Гос-по-ди, по-ми-н-луй...» — вступили колокола.

Саша облегченно вздохнул. Значит, счет был верный... Пятнадцать на шестьдесят — ровно девятьсот...

Прошло четверть часа. Еще четверть часа твоей жизни. Их осталось совсем немного. А может быть, все-таки выйдет помилование?..

Саша прошелся из угла в угол. Новая камера, куда его привезли после суда, была больше прежней. Те же сиденье, стол, кровать. Но стены были другие.

В первый день после переезда из предварилки, пораженный густой, вязкой тишиной, он попробовал стучать соседям, но с удивлением обнаружил, что стены в новой камере совсем не каменные, а представляют собой сложную конструкцию: обои, плотная материя, потом мелкая металлическая сетка, за ней толстый слой войлока, и только уж потом камень. (Какой-то узник расковырял в одном месте стену, и Саша видел ее хитрое устройство.)

Значит, здесь сводят с ума не только ожиданием исполнения приговора, но и тишиной, подумалось ему тогда. Чтобы это ожидание не было рассеяно никакими посторонними звуками. Что-

бы осужденный был полностью предоставлен мыслям о тяжести совершенного им деяния, мыслям о близости своей смерти...

А что, если все-таки выйдет помилование?..

В окне, вырезанном в двухаршинной наружной стене и забранном двумя застекленными, зарешеченными железными рамами, смутно была видна крепостная стена, еще большей, кажется, толщины, чем стена каземата. На стене стояла будка часового, а над ней высоко торчала какая-то труба, из которой струнлся слабый дым.

«Гос-по-ди, по-ми-луй...» — зазвонили колокола.

Еще четверть часа.

Он прошелся по уложенному войлоком полу до умывальника. Повернул к двери. Постоял около нее, глядя на квадратное, запиравшееся снаружи отверстие, через которое солдат подавал еду.

Посредине квадратного отверстия был вырезан застекленный глазок, тоже закрывавшийся снаружи. Глазок на тюремном жаргоне назывался иудой... Как ни старались караульные и надзиратели незаметно подкрасться к нему и тайно понаблюдать за арестантом, скрип сапог каждый раз выдавал. «Хоть бы мазь им специальную выдавали, — подумал однажды с досадой Саша, — чтобы не действовали так на нервы...»

Он сел на табуретку, прислонился затылком к стене. Петропавловская крепость... Русская Бастилия... Кого только не видели эти стены!.. Здесь, может быть даже в этой камере, сидели Рылеев, Шевченко, Достоевский, Каракозов, Бакунин, Чернышевский, Писарев, Кропоткин, Желябов, Перовская...

В чем дело? Почему так устроена эта жизнь, что лучшие люди — те, кто умен, справедлив, искренен, желает счастья людям, борется за то, чтобы изменить условия этого подлого, жалкого существования, — почему такие люди всегда изгои, узники глухих камер, кончают свои дни в ссылках, в тюрьмах, на виселицах?

А те, кто жесток, циничен, подл, глух к справедливости, добру и правде, — эти люди благоденствуют, наслаждаются жизнью, диктуют законы, вершат судьбами людей, они всегда отцы семейств, примерные мужья, столпы общества, наставники юношества?

Почему?

Может быть, стремление к правде и справедливости всегда связано с муками и страданиями? Может быть, их и не существует, этой правды и справедливости, если путь к ним вымощен столькими лишениями и терзаниями?

Вздор.

Те, для кого счастье состоит в ощущении борьбы, в радости противоборства несправедливому укладу жизни, кто органически не может выносить косности и мракобесия, — эти люди должны быть нечувствительны к физическим страданиям и мукам. Такой человек уже испытал счастье. Он достиг апогея своей судьбы — он боролся, он не был сломлен, он отдал все, что мог, ради своих убеждений!

Что может быть прекраснее и возвышеннее такой судьбы?..

«Господи, помилуй, господи, помилуй, гос-по-ди, по-ми-луй!» — отбили три четверти часа на колокольне.

Он встал, снова зашагал по камере из угла в угол. Десять шагов к двери, десять шагов обратно... Да, да, борьба — это высшее проявление смысла жизни. Но только ли в непосредственном противоборстве, в прямом столкновении внешних сил могут выражаться и исчерпываться все формы борьбы?.. А исследование — разве это не борьба? С неизвестностью, незнанием или с ложным знанием, с упорным сопротивлением живой и мертвой природы человеку, проникающему в ее тайны?

Исследования, наука — это тоже борьба, это тоже противоборство с косностью устоявшихся знаний, с их нежеланием уступать свое место знанию новому, более совершенному и глубокому, пришедшему на смену прежней системе взглядов.

Он остановился... А он сам, Александр Ульянов, сумел ли он внести что-либо новое в ту или иную область человеческих взглядов, существовавших до него?.. Он только начал свой путь исследователя. Работа по зоологии, золотая медаль — единственный и робкий шаг в науку. Даже полшага.

Но разве можно заниматься настоящей наукой в современной России? Разве можно целиком посвящать себя исследованиям, когда совесть не дает тебе покоя и все время шепчет: стыдно жить, стыдно заниматься посторонними делами, когда общественным укладом стало явное зло, когда это зло приняло форму государственного устройства и настойчиво искореняет все проявления передовой мысли.

И потом, имеет ли вообще интеллигентный, образованный человек право заниматься отвлеченными исследованиями и наукой в то время, когда народ испытывает небывалые бедствия и необходимо в первую очередь прямо и действенно служить именно его интересам?

Колокола на башне зашипели, готовясь отметить завершение минутной стрелкой полного оборота на циферблате... «Коль славен наш гос-подь в Сио-о-не», — заиграли колокола так фальшиво, что Саша даже усмехнулся. Это действительно было

смешно: главные часы империи издавали звуки, делавшие куранты похожими на оркестр пьяных пожарных.

А на самом деле, подумал Саша, почему они так фальшивят? Наверное, зимой от резкой смены температуры колокола теряют свой настрой, а весной их перестроить, конечно, некому. Да и незачем. Не о заключенных же в крепости беспокоиться?.. А караульные, наверное, уже привыкли — им все равно, их это не раздражает в такой степени, как узников... Действительно, посидишь под этот погребальный звон несколько лет, и психическое расстройство обеспечено.

Колокола окончили свой раздерганный звон. Нестройное эхо долго висело в воздухе. Как это символично, подумал Саша, главные часы государства немилосердно фальшивят... Звучание их так же неправильно, как неверна вся русская жизнь с ее нелепой политической организацией, которая сковывает энергию огромного талантливого народа, с ее неуправляемыми расстояниями, якобы подчиненными централизованной идее самодержавия, а по существу представляющими из себя разнузданную азиатскую стихию бесправия, беззакония, самоуправства, со всей какофонией ее полузадушенных голосов, исковерканных звуков, задавленных стонов, прикушенных воплей, со всей нестерпимой, непереносимой фальшью главной идеи жизни — поголовным раболепием перед несколькими ничтожными людьми, силой случая вытолкнутыми на верхнюю ступень общественной лестницы...

Нет, жить в такой стране невозможно. Ее нужно перевернуть, перетрясти, как старый матрац, вытряхнуть из нее моль всеобщего рабства, пассивности к своей судьбе, безразличия к завтрашнему дню... И лучше погибнуть в борьбе за преображение этой страны, твоей родины, чем безропотно подчиняться тяжкому бремени ее свинцового бытия.

А может быть, все-таки выйдет помилование?

...Он вспомнил свою лабораторию в зоологическом кабинете университета. Большие застекленные шкафы. Банки и колбы с химическими реактивами. Чучела зверей и земноводных, микроскопы, медицинские весы, препараты, набор инструментов... Как много отдал бы он сейчас, чтобы хоть несколько часов — час, полчаса! — позаниматься в лаборатории, поставить хотя бы простейший опыт, повозиться со своими приборами, пробирками, ощутить характерный лабораторный запах, взяться руками за холодную выпуклость большой бутыли с азотной кислотой...

Перед ним возникло лицо Менделеева — спутанная грива волос, борода с желтыми подпалинами от постоянного сидения в лаборатории над реактивами, страстные, всепроникающие глаза гения, которые различают в обыкновенных предметах и явлениях то, чего не видят миллионы других людей... Дмитрий Иванович, стуча мелом, рисовал на доске квадраты своей таблицы, вписывал в них знаки элементов, порядковые номера, удельные веса, все время разговаривал с аудиторией, обращаясь к своим любимым студентам, и особенно часто к нему, к Саше Ульянову.

«А ведь он действительно очень любил меня, — подумал Саша, — очень жалел, что я обратился к зоологии, и надеялся, что, несмотря на это, ему все-таки удастся привлечь меня к каким-либо своим работам... Может быть, и мне удалось бы что-нибудь сделать в науке. Конечно, не равное Менделееву, но если бы даже одну десятую, одну сотую часть, то и это принесло бы огромную радость, удовлетворение, счастье. Ведь я же всю жизнь готовил себя к науке, к исследовательской деятельности, не позволяя себе никаких других увлечений, не отвлекаясь на посторонние мелочи, на второстепенные дела...»

Да, обидно, очень обидно уходить из жизни тогда, когда долгая, систематическая работа над своим образованием начала наконец давать плоды, когда круг знаний стал расширяться с необыкновенной быстротой и во всех направлениях, когда светоч научной мысли ярко озарил сознание, увлекая все дальше и дальше в безбрежный океан еще не исследованных проблем... Как велика, как красива, как возвышенна наука! Сколько чистых и высоких переживаний может принести она! И этот бурлящий океан знаний уже начал раскрывать перед ним свои тайны и закономерности, уже начали зарождаться в нем пока еще маленькие, но зато свои собственные островки идей и открытий, уже начали эти островки складываться в зачаточные, но самостоятельные теории, обещавшие со временем вырасти в стройные оригинальные системы.

«Гос-по-ди, по-ми-н-луй!»

Наука и революция. Невозможно заниматься первой, не принимая участия во второй. Путь из науки в революцию закономерен. Наука дает понимание законов развития. В том числе общественного развития. А развитие состоит из смены одних общественных форм другими. Устаревшие скрепы государственного устройства должны быть сброшены, заменены новыми, более современными и прогрессивными. И люди науки — те, кто познал необходимость этой смены, больше, чем кто-либо другой, должны принимать участие в ускорении этих перемен. На людях науки

лежит прямая ответственность за организацию и исполнение этой смены, так как они достоверно и научно объективно знают, что такая смена — неизбежна. Она все равно наступит, как бы ни сопротивлялись ей устаревшие и отжившие свой век силы. И поэтому было бы преступлением (прежде всего перед своей совестью) знать объективно о неизбежности перемены общественного устройства и, во-первых, не доводить этого знания до сведения тех, кто не получил образования, то есть до народа, и, во-вторых, не принимать никакого личного участия в практическом осуществлении этих перемен.

В революцию многие пришли из науки. Желябов, Герман Лопатин, Ипполит Мышкин... Явственные задатки гениальности проявлял Кибальчич. По рассказам знавших его людей, он мог прямо со студенческой скамьи шагнуть в первую десятку мировых гениев. Петр Лавров, автор знаменитых «Исторических писем», целиком подчинил свои способности непосредственным интересам революционного движения.

Революция должна стать наукой. Все стороны революции — ее цели, задачи, ее тактика и стратегия, программа революционной партии, устав для ее членов, контакты с другими прогрессивными группировками общества, требования к правительству — все это должно быть разработано на научной основе.

Только тогда, когда общественное движение будет выражать научные закономерности развития человеческой жизни, — только тогда это движение добьется успеха, потому что можно предотвратить покушение на царя, можно упрятать в тюрьмы и на каторгу тысячи революционеров, можно обескровить и рассеять революционную партию, убить на эшафотах и виселицах ее организаторов, но нельзя остановить движение человеческой мысли, нельзя предотвратить познание человеком главного закона, который говорит, что жизнь общества должна неизбежно и непрерывно изменяться.

«Гос-по-ди, по-ми-и-луй...»
«Гос-по-ди, по-ми-и-луй...»

II

Володя стоял на берегу Свияги. Лед уже разломало. Тяжелая черная вода шла по быстрине медленно, образуя омутки и заводи. Местами путь ее суживался до ширины маленького ручья, крепкие еще береговые льдины, выдвинув вперед острые зубья,

сдавливали течение просыпающейся речушки, но она, минуя повороты и выступы, упорно пробиралась к своей конечной цели, стремилась только вперед, к другой воде, к другой реке, большей, чем она сама, неутомимо разрушая и подтачивая еще вчера сдерживавшие ее зимние оковы, освобождаясь постепенно от стеснявших ее движение льдов и снегов.

Там, где берега уже обтаяли, в воде отражались кусты с голыми прутьями, похожими на розги, которые вроде бы даже собирались посечь непочтительную и непослушную весеннюю воду за то, что она так торопится смыть с себя все следы зимы. Но намерения эти были, пожалуй, только у самых нижних, нависших над холодной водой кустов. Верхние же, уловившие своими кончиками тепло солнца, уже вспыхивали первыми зелеными флажками.

Володе вспомнился разговор с Наумовым.

— Ты на юридический будешь подавать? — спросил Наумов.

— На юридический. А ты?

— Я тоже.

— Вот как? — удивился Володя. — Никогда бы не подумал...

— Почему?

— Ну, ты в общем-то рациональный человек. Тебе скорее подошли бы точные науки. Математика, например, или физика.

— А разве государственные науки имеют только эмоциональное содержание? Например, полицейское право, — Наумов засмеялся.

— Я не в этом смысле...

— Да и ты сам тоже собираешься на юридический, но, как я понимаю, эмоциональной барышней себя вовсе не считаешь.

— Мне нужна свободная профессия, — сказал Володя задумчиво.

— Свободная? — Наумов с интересом посмотрел на Ульянова. — А почему?

— Так, — неопределенно ответил Володя.

— Ну а все же?

— Неужели ты не понимаешь?

— Нет, не понимаю.

— А ты подумай получше.

Наумов напряженно вглядывался в его лицо.

— А-а, — догадливо протянул он наконец и закивал головой, — понял. Ты боишься, что на государственной службе тебе не будет хода. Из-за...

— Ничего я не боюсь, — оборвал Володя. — Свободная профессия дает возможность самостоятельно выбирать род и место деятельности.

— Значит, хочешь выйти на присяжного?

— На кого выйду — еще не знаю. Можно быть поверенным, консультантом, управляющим делами — выбор богатый. Главное — получить знания, которые отвечали бы нуждам времени.

— Ты считаешь, что современная жизнь нуждается только в юридических науках?

— Современная жизнь нуждается в правовых науках прежде всего. Теперь между людьми все время будут возникать новые отношения...

— Я что-то не понимаю...

— Сейчас поймешь... Ты согласен, что сейчас везде стало больше сделок, больше стали продавать и покупать товаров, хлеба, земли?

— Ну, согласен.

— Так вот. Теперь многие нуждаются в услугах людей, которые могут разъяснить им их возможности и права в новых отношениях с другими людьми. Например, помочь выгодно продать землю, на выгодных процентах заложить имение. Или наоборот, с барышом купить землю, купить и перепродать партию зерна... Сейчас в десятки и сотни тысяч раз увеличилось число людей, у которых появились свои собственные, независимые от государства дела. Эти люди нуждаются в квалифицированной консультации, в деловой помощи в области правовых отношений. И поэтому спрос на правовые науки будет сейчас, как никогда, высокий. А это верный способ обеспечить себя заработком, ориентируясь на частных лиц, и в своем материальном положении не зависеть ни от государства, ни от чьих-то характеристик, ни от полицейских бумаг...

— Ты стал трезвым человеком!

— Станешь...

— А у меня совсем другие причины.

— Какие же?

Наумов снисходительно посмотрел на Володю.

— Ты из материалистических соображений на юридический идешь, а я хочу изучить науку об управлении государством. Есть честолюбивые планы...

Володя быстро взглянул на Наумова.

— В самом деле?

— Ты знаешь, — доверительно придвинулся Наумов, — столько дураков управляют государством, что просто диву даешься, как нас до сих пор снова не завоевали какие-нибудь монголы. Взять хотя бы нашу губернию... Ты посмотри, какими интересами живут высшие начальствующие лица? Карты, взятки, пьянство, воровство. Среди таких монстров человек даже

средних способностей может легко сделать карьеру... Ты прав, в России сейчас все так перепуталось, что люди готовы платить деньги только за то, чтобы им кто-нибудь хоть правильно объяснял, что на белом свете-то происходит...

— А ты, Наумов, тоже стал трезвым человеком.

— Ты же сам говоришь, что теперь везде такая жизнь.

— Я не это имел в виду.

— А я это. Для чего мы зубрили восемь лет всю эту гимназическую ерундистику? Чтобы идеализмом заниматься? Благодарю покорнейше. Я от жизни свое хочу взять. И если я лучше других понимаю, что составляет главный закон жизни, что ж, я этим пониманием не воспользуюсь в своих интересах?

— Конечно, воспользуешься.

Наумов разгорячился. Лицо его покрылось красными пятнами.

— Сейчас надо экономические науки изучать — время такое. Но не для дяди же изучать! Для себя, для своего дела...

— А кем бы ты хотел стать?

Наумов подумал, сказал нерешительно:

— Еще не знаю...

И добавил полушутливо, полусерьезно:

— Но меньше, чем на губернаторство, не соглашусь... В крайнем случае дослужусь до вице в какой-нибудь Тьмутаракани.

Володя усмехнулся.

— Хвастаешь...

— Ну почему же? Ты посмотри, у нас-то какой губернатор!

Наумов замолчал, но ненадолго.

— А ты, Ульянов? Чего ты собираешься добиться? Управлять имением у какого-нибудь Штольца? Или быть ходатаем по делам купцов Разуваевых? Не очень-то свободна будет такая профессия или должность от прихотей хозяина.

— Ты меня неправильно понял, — Володя смотрел на Наумова твердо и прямо. — Об услугах частным лицам я говорил не потому, что собираюсь эти услуги оказывать, а чтобы показать спрос на правовые науки.

— Ну хорошо, управляющим у Штольца ты не будешь. А кем же ты будешь?

— Еще не знаю. У нас большая семья. Пенсия за папу невелика. Нужно помогать маме, и придется начать это как можно раньше...

— Ульянов, ты прости, конечно, за неделикатность... Но... ты понимаешь, о чем я хочу спросить?

— Понимаю.

— Ты не считаешь, что это будет мешать тебе в жизни?

— Я предпочел бы на эту тему не говорить.

— Но...

— Ты же умный человек, Наумов...

— Прости... Я же сначала извинился.

— Что ты хочешь спросить? — Володя прищурился, взгляд его стал пристальным, глубоким. — Ну, спрашивай.

— В гимназии и в городе все говорят, что... что ты тоже собираешься...

— Нет! Не собираюсь! — резко ответил Володя. — И не собираюсь собираться! Ты удовлетворен?

— Я понимаю, это неприятно тебе...

— Мне это совершенно, абсолютно безразлично! — вспыхнул Володя. — Разве ты не видишь? Разве не чувствуешь, что я холоден как лед?

— Володя, успокойся...

— Этот город с его обывательским любопытством заслуживает только презрения!..

— Володя, не надо...

— Мой брат был слишком честен, слишком благороден, слишком чист для этой жизни! Он хотел изменить ее геройским поступком, одним усилием, благородным примером!.. Нет, эту жизнь, как и этот город, нужно вывернуть наизнанку и выбить из нее всю подлость, все лицемерие, всю трусость и предательство! А тем, кто настойчиво интересуется, кем я буду, можешь передать: управляющим имением у Штольца или ходатаем по частным делам купца Разуваева!.. Прощай!

Домой он вернулся уже поздно. Внизу никого не было. Из своей комнаты выглянула няня и тут же спряталась. Лицо у няни было заплаканное.

Володя постучал к ней, открыл дверь.

— Где Оля? — спросил он.

— Ушла, — испуганным почему-то голосом ответила Варвара Григорьевна.

— А Митя? Маняша?

— Спят. Уложила...

Володя прикрыл дверь, вошел в столовую. На столе около лампы лежало письмо.

Холодеющими пальцами взял он письмо, придвинул лампу. Письмо было из Петербурга. Первая же фраза бросилась в глаза, пресекла дыхание, остановила сердце... «Сашу приговорили к смерти через повешение...»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Симбирск.

4 мая 1887 года.

Дом Ульяновых на Московской улице.

Тишина.

Все замерло.

Ни звука, ни шороха.

Напряженное ожидание.

Вот войдет почтальон и...

Володя и Оля сидят за большим столом около лампы в столовой. Завтра у Володи первый экзамен на аттестат зрелости, сочинение. Но книги лежат на столе нераскрытыми.

Скрипнула входная дверь...

Оля быстро встала со стула, прижала пальцы к вискам.

В дверях — белое как мел лицо Варвары Григорьевны.

— Никого нет, Володечка, — жалобным голосом говорит Варвара Григорьевна, — это я дверь плотнее прикрыла.

Володя встал, подошел к окну, резко обернулся.

— Сейчас всем нужно ложиться спать, — сказал он твердо и решительно. — Почту по вечерам не разносят.

Няня вздохнула, поправила платок.

— А может, все-таки подождем немного, Володюшка? Может, известно чего станет... отменют... или как...

— Идите спать, няня. И ты, Оля, иди.

— А ты?

В глазах у Оли — боль, отчаяние, страх.

— Я позанимаюсь.

Няня и Оля ушли. Володя подкрутил лампу, сел к столу. Взял книгу. Открыл. Строчки налезали друг на друга.

Он закрыл книгу. Сидел минут пять, глядя в одну точку. Потом встал. Еще прикрутил лампу. Сел.

Нет, это невозможно. Нельзя больше сидеть просто так. Надо что-то сделать, куда-нибудь пойти. Нельзя больше выдерживать это ужасное ожидание.

Он подошел к лестнице в детскую. Тихо. Маняша и Митя спят. Оля, наверное, лежит и смотрит в потолок.

Володя притушил лампу, вышел на улицу, бесшумно прикрыл за собой дверь.

Город почти безлюден — это и хорошо, ему ни с кем не хо-

телось встречаться, тем более разговаривать. Надо побыть одному и помолчать.

Он пересек Большую Саратовскую, вышел на Спасскую, прошел мимо гимназии. В другое время кто-нибудь из прохожих, встретившихся по пути, наверняка сделал бы ему замечание — гимназистам даже выпускных классов не полагалось так поздно появляться на улицах. Но, вероятно, прохожие узнавали его, Ульянова Владимира, среднего сына Ильи Николаевича, брата того самого, который...

Вот и Стрелецкая улица, их старый дом, последний по улице, в котором жили еще и отец, и Саша... А напротив дома, наискосок через площадь, — тюрьма, старая Симбирская тюрьма — мрачное, серое здание без огней и звуков, окруженное высоким глухим забором. Мимо этого забора они часто бегали вместе с Сашей на Венец...

Володя медленным шагом прошел через площадь, и Волга — в прозрачной дымке поздних летних сумерек — свободно и распахнуто открылась перед ним и влево, и вправо, и широко вдаль, переходя в луга и печальные поля и в почти неразличимые фиолетовые леса, сливающиеся на невидимом горизонте с низким ночным небом.

Он долго и неподвижно стоял над Волгой, глядя, как все ниже и ниже опускается ночь на луговой берег, как побеждает темнота последние светлые разводы облаков, и вот уже исчезло все Заволжье, и луга, и леса, и только слабо светится мерцающий огонек бегущего против течения пароходика — маленькая, упрямая искра света в огромном, бесконечном, непобедимом царстве мрака и ночи.

Да, завтра первый экзамен на аттестат зрелости, первое испытание, которое жизнь предъявляет ему после восьми лет учебы. Нужно думать о сочинении, о том, какую выбрать тему, но так далеко сейчас его мысли от всего этого. Мысли его в Петербурге, где сидит за решеткой Петропавловской крепости приговоренный к смерти Саша, где мама в приемных министров и генералов бьется за его жизнь. Может быть, ей все-таки удастся заменить смертную казнь каторгой, хотя после той речи, которую Саша произнес на суде и слухи о которой дошли даже до провинциального Симбирска, сделать это, наверное, почти невозможно.

«Саша, Саша... Вот, оказывается, какой ты был на самом деле... Мне всегда казалось, что ты будешь крупным ученым, профессором зоологии, а ты был революционером, ты готовил покушение на царя, ты хотел изменить политический строй... И я люблю тебя, люблю, люблю так, как никогда еще и никого

не любил в жизни! И пусть что угодно говорят и шепчут за моей спиной и в гимназии, и на улицах — я люблю тебя, Саша, еще больше и крепче, чем раньше... Мама обязательно добьется замены смертной казни ссылкой... Мама спасет тебя, Саша... Мама обязательно спасет тебя...»

II

Петербург.

Петропавловская крепость.

Приговоренный к смертной казни государственный преступник Александр Ульянов пишет письмо к сестре Ане:

«...Я перед тобою бесконечно виноват, дорогая моя Анечка; это первое, что я должен сказать тебе и просить у тебя прощения. Не буду перечислять всего, что я причинил тебе и маме: все это так очевидно... Прости меня, если можно.

Я помещаюсь хорошо, пользуюсь хорошей пищей и вообще ни в чем не нуждаюсь. Денег у меня достаточно, книги также есть. Чувствую себя хорошо как физически, так и психически.

Будь здорова и спокойнее, насколько это только возможно; от всей души желаю тебе всякого счастия. Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя...

Напиши мне, пожалуйста, еще: я буду очень рад получить от тебя хоть маленькую весточку. Я также буду писать тебе, если узнаю, что имею на это возможность. Еще раз прощай.

Твой Ал. Ульянов».

...Поворот ключа в замке, скрип двери — на пороге комендант крепости, за ним трое солдат с примкнутыми штыками и старший конвоя. Из-за железного стола около стены навстречу коменданту поднимается невысокий, худой, коротко остриженный юноша, скорее даже мальчик, в потертой тюремной куртке. Комендант вынимает из папки бумагу с двуглавым орлом наверху, но, перед тем как прочитать ее, еще раз бросает взгляд на осужденного, и в глубине давно уже очерствевшей души тюремщика вздрагивает какая-то маленькая, казалось бы, давно уже атрофированная жилка: пожалуй, впервые за всю свою долгую карьеру он должен сделать подобное сообщение вот такому желторотому юнцу, вот такому по-гимназически еще стриженому мальчишке.

Комендант кладет бумагу обратно в папку и, отводя взгляд от тонкой шеи осужденного, говорит глухо, неофициально:

— Ваш приговор не изменился.

Стриженый мальчишка молчит.

— Вам понятно, — спрашивает комендант, — что ваш приговор остался в силе?

Молчание.

Комендант снова открывает папку.

— Не затрудняйтесь, — говорит вдруг осужденный отчетливо и громко, — я вас сразу же понял.

Комендант пожимает плечами. Какое все-таки странное лицо у этого Ульянова: неподвижное и бесстрастное, только глаза все выдают — горят сумасшедшим, неукротимым огнем. Такого, видно, и виселицей на колени не поставишь...

III

Симбирск.

4 мая 1887 года.

Одиннадцать часов тридцать минут вечера.

Дом Ульяновых на Московской улице.

Вернувшись домой, Володя разделся, лег, но сон не шел. Неужели Сашу повесят? Неужели люди, живые люди, все эти генералы и чиновники, перед которыми сейчас унижается мама, неужели они допустят, чтобы живого человека, чтобы прекрасного двадцатилетнего человека удавили намыленной палачом веревкой?

Необычайный прилив яростного и жаркого гнева ощутил вдруг Володя в груди после того, как все эти жгучие мысли стремительным потоком пронеслись через его сознание. Володя заскрипел зубами и, подмяв кулаком под себя подушку, перевернулся на другой бок. На мгновение ему представилась низкая сводчатая камера, тускло освещенная слабым огоньком свечи, — что-то вроде кельи летописца Пимена из учебника русской словесности.

Наверное, в таком каменном мешке сидит сейчас Саша.

Что с ним? О чем он сейчас думает? Надеется, что царь все-таки сохранит ему жизнь, или уже нет?

Мама написала в письме, что Саша отказался просить о помиловании и только после того, как она и Песковский напомнили ему о семье, о младших братьях и сестрах, Саша согласился поступиться своими принципами и написал царю.

Значит, они все (Володя, Оля, Митя и Маняша) очень дороги ему, значит, он всегда думал о них, значит, все эти злобные разговоры соседей и обывателей о том, что Саше было наплевать на семью и на мать-вдову, — ерунда, ложь, вымысел!

Нет, конечно же, он не такой человек, Саша, чтобы забыть о младших братьях и сестрах. Не мог он не думать о доме, о ма-

ме, о семье, о том, что после смерти отца часть ответственности за них ложится и на его плечи, не мог!

Не мог...

И все-таки сделал это, все-таки вступил в партию и вышел против царя, все-таки не отказался на суде от своих убеждений. Он знал, чем ему все это грозит, он знал, что в осиротевшем отцовском доме остались два брата, две сестры и мать, он знал, какое будущее предстоит им без него.

Знал...

Знал и все-таки не поступился ничем — ни одним своим словом, ни одним убеждением.

Но почему же? Почему?

Он не мог это сделать просто так, под влиянием порыва. Это его позиция, его твердо продуманное кредо, его линия жизни. Это...

Володя сел на кровати, потом быстро встал и, подойдя к окну, распахнул рамы. Холодный волжский воздух, настоянный на влажных запахах заливных майских лугов, жадно ворвался в легкие, грудь дышала хорошо и ровно, и билась, билась в тяжелых висках цепко пойманная, схваченная на лету новая мысль, так внезапно, так упруго и четко, с такой прозрачной ясностью открытия сложившаяся из привычных, обыденных, ежедневно произносимых слов.

Значит, это очень важно — уничтожение царизма, самодержавия. Нет ничего важнее этого, если только за одну лишь возможность публично подтвердить на суде эту идею человек отдает жизнь...

Значит, протест, борьба, революция и вообще все виды противоборства с существующим строем — все это не менее значительно, чем учеба, наука, служба, карьера, раз на это пошел Саша, человек, которому прочили блестящую судьбу ученого. Значит, все это может стать содержанием целой человеческой жизни...

То, что сделал на суде Саша, — это подвиг, истина, высшая правда. В таком положении человек не может не быть искренним до конца. В таком положении человек своими поступками и словами, ценой своей жизни приподнимает завесу обыденщины над подлинными ценностями жизни.

...Он так и не заснул в ту ночь с четвертого на пятое мая 1887 года — последнюю ночь перед выпускным сочинением, последнюю ночь перед своим первым экзаменом на аттестат зрелости. До самого утра прошагал по комнате из угла в угол Владимир Ульянов — ученик выпускного класса Симбирской классической гимназии.

IV

Петербург.

Петропавловская крепость.

Трубецкой бастион.

Ночь с четвертого на пятое мая 1887 года.

Три часа двадцать пять минут.

Дверь камеры № 47, в которой содержится после вступления в силу приговора о смертной казни государственный преступник Александр Ульянов, с треском распахивается:

— Одевайтесь! На выход! — слышен в коридоре голос надзирателя.

Переходы, лестницы, повороты, подъемы, спуски. Четыре солдата с примкнутыми штыками по бокам, два унтера с саблями наголо спереди и сзади.

В кузнечном отделении коренастый человек в кожаном фартуке быстрыми и ловкими движениями набивает тяжелые кандалы на руки и ноги. Идти теперь уже совсем невозможно. Унтеры, вложив сабли в ножны, подхватывают щуплого, мальчишеского вида арестанта под руки и волокут через двор к решетчатой тюремной карете.

Глухие слова команды, удар кнута, скрип ворот, резкое цоканье лошадиных подков по булыжникам мостовой. Унтеры, не выпуская скованных рук, тяжело навалились с боков.

— Нельзя ли свободнее немного? — просит Саша. — Ведь не убегу я в железе...

Молчание. Стук копыт. Далекий крик часового на крепостной стене: «Слу-у-шай!»

Карета останавливается, не проехав и десяти минут. Влажный запах воды ударяет в ноздри. Пристань. Темный силуэт небольшого пароходика. Рослые унтеры дрожащими от напряжения и волнения руками (цареубийца все-таки, что как сбежит?) хватают осужденного под мышки и почти бегом тащат к сходням. Кто-то невидимый отодвигает люк трюма, и жандармы, облегченно вздохнув, опускают арестанта вниз.

Люк над головой закрывается. Глаза постепенно привыкают к темноте. В углу на лавке между двумя конвойными сидит обросший бородой Андреюшкин.

— Александр Ильич! — кричит он и срывается с места.

— Пахом! — делает шаг навстречу Саша.

Но уже хватают его за плечи чьи-то цепкие руки, тянут в противоположный угол. Усаживают на место и Андреюшкина.

— Что же вы, сволочи, проститься по христианскому обычаю не даете? — кричит Пахом. — Или креста на вас нет, одни бляхи остались?

— Господа, успокойтесь, — журчит знакомый баритон. — У вас будет достаточно времени для прощания.

Саша удивленно поворачивается влево. Ротмистр Лютов в щеголеватой жандармской шинели — собственной персоной. За его спиной в глубине трюма, в полутьме, еще несколько солдат, которых Саша поначалу и не заметил.

Вверху открывается люк, медленно опускают еще кого-то в кандалах. Кто это?

— Вася, казачишка донской! — кричит из своего угла Андреюшкин. — Попался царю-батюшке на крючок! Как тебя вешать прикажешь? Под музыку или без музыки?

— Пахом, черт не нашего бога! — улыбается Генералов (это он). — Куда бородищу такую распустил?

— Господа, господа, — журчит Лютов, — я бы попросил вас...

Генералова берет к себе очередная пара солдат. Увидев Ульянова, Василий, громыхнув кандалами, поднимает руку.

— Саша, целование!

И Саша молча кивает ему.

Почти одновременно опускают сверху последних приговоренных — Осипанова и Шевырева.

— Отча-а-ливай! — зычно командует Лютов.

Глаза Осипанова даже в темноте блестят со всегдашней характерной настойчивостью. Шевырев сидит задыхаясь, кашляет, откинув назад голову, — туберкулез, видно, совсем доконал его.

— Господин ротмистр, ваше благородие! — говорит вдруг Осипанов резко и требовательно. — Прикажите посадить нас всех вместе!

Лютов молчит, постукивая носком лакированного сапога по металлическому полу в такт работы двигателя.

— Почему не отвечаете? — спрашивает Осипанов, нагнув голову. — Язык отнялся?

— Не положено вам находиться вместе, — наставительно говорит Лютов, — не на пикник едем.

— Смотри-ка, — кричит из своего угла Андреюшкин, — нам шутить не велел, а сам шутник первой марки!

— Я второй раз требую посадить нас всех вместе! — угрожающим голосом говорит Осипанов. — Пусть конвой стоит рядом или напротив.

— Нельзя, Осипанов, нельзя.

— Или вы сажаете нас вместе! — кричит Осипанов. — Или

я на стены бросаться буду! И потоплю эту старую калошу вместе с вами! Мне терять нечего!

Лютов, склонив набок голову, несколько секунд смотрит на лихорадочно блестящего глазами Осипанова. Псих. Решительный. По документам известно, что обладает огромной физической силой. Ладно, пусть будет так, как он хочет. В конце концов, побег в ручных и ножных кандалах из этого трюма практически невозможен.

Ротмистр делает знак рукой. Солдаты сажают приговоренных рядом друг с другом и выстраиваются неровной шеренгой напротив.

Осипанов, звеня железом, торопливо жмет всем руки, потом оборачивается к Ульянову, тихо шепчет:

— Александр Ильич, ваше последнее слово стало известно на воле... Мне передали во время свидания... Оно гектографировано и выпущено отдельной листовкой...

Ухо у ротмистра Лютова делается, как у слона. Так, так... Значит, связь со старым народовольческим подпольем шла через Осипанова, а не через Ульянова. Значит, прав был царь — часть террористов все-таки осталась на воле. Значит, не зря он, Лютов, предприиял по совету прокурора Котляревского эту ночную прогулку на катере.

Осужденные все-таки выдали себя в последнюю минуту. Не могли не выдать. Теперь всех, кто был на свидании у Осипанова, на проверку. Ниточка, правда, тонкая, но пренебрегать ею нельзя. Может быть, именно здесь и зарыта собака.

А Ульянов? Что он ответит Осипанову?

Но Саша молчит. Он смотрит на Осипанова взволнованно и возбужденно. Осипанов никогда не говорит неправды. Он имел возможность убедиться в этом... Значит, дошло. Значит, не зря... Не зря, не зря, не зря!..

Протяжный крик чайки долетал до их слуха сквозь ритмичный гул машины. Куда их везут? В открытое море? На острова? Или, может быть, в Шлиссельбург?

— Друзья, — тяжело дыша, хрипит Шевырев, — наверное, больше не придется вот так, вместе... Надо прощаться. Простите, если перед кем в чем виноват...

Он закашлялся, задохнулся, пригнул голову к коленям.

— Да что вы, Петр Яковлевич! — загудел Генералов. — Никто из нас ни в чем... Все друг перед другом как ангелы...

— Верно, чего там! Отставить такие мысли, Петя! Ни к чему они.

— Все равно проститься надо, — кашлял Шевырев.

— Ну, прощайте, ребятушки! Не поминайте лихом!

— Прощай, Вася, Пахом, Саша!

— Прощайте!

— Господа, господа, поговорили — и по местам, — командовал Лютов, похлопывая по плечам приговоренных, которых уже разводили по углам солдаты. — Я пошел вам навстречу, но нельзя же злоупотреблять.

...Сипло гудя и сбавляя обороты двигателя, пароходик медленно подходил к причалам Шлиссельбургской крепости.

V

И снова одиночная камера, решетчатое окно... Что происходит? Зачем их привезли сюда? Царь решил продержать их несколько лет в этих каменных мешках в ожидании смерти?

Итак, что же в итоге? Если не верить словам Осипанова о листовке, то всего-навсего неудачное повторение желябовской эпопеи.

А если верить? Тогда все правильно, листовка попадет в революционную среду, и всем станет ясно, что следующий шаг русской революции, пусть неудачный, все-таки сделан.

Листовка попадет в университет, в уцелевшие студенческие кружки, и террор возобновится. Пусть Александру III удалось на этот раз уцелеть, пусть он проживет еще год, еще два — ну, от силы три. Все равно карающая рука революции настигнет его и уничтожит. И тогда...

Саша остановился. Да, что же будет тогда, после убийства Александра III? По всей вероятности, на престол взойдет его сын Николай. Его, Николая Второго, наверное, тоже уничтожит революционная партия. И что же будет? Докажут ли революционеры правительству необходимость ограничения самодержавия, необходимость реформ, демократизации жизни общества, или опять все пойдет по-старому, на трон сядет Николай Третий или Александр Четвертый, а за ним Александры Пятый, Шестой, Седьмой?..

Саша сел к столу. Когда-то Орест Говорухин приносил ему брошюру бывшего землевольца Плеханова «Наши разногласия». Плеханов, некогда активный соратник Желябова и Перовской, разошелся с ними, уехал в Швейцарию. Он стал ярым пропагандистом учения Маркса. Плеханов говорит, что революция в России связана только с пробуждением классового самосознания рабочих.

Пожалуй, в программе террористической фракции «Народной воли» были отдельные места, в которых некоторые плеха-

новские формулировки нашли отражение. О классовой борьбе, например, о политической активности рабочих как одной из самых значительных и революционных общественных группировок... В промышленно развитой Европе рабочий класс, пожалуй, гораздо скорее, чем в России, будет иметь решающее влияние на изменение общественного строя, и с этой точки зрения в западных социалистических партиях есть смысл вводить индустриальных пролетариев в революционное движение и вести среди них активную пропаганду. А в России?..

— Осужденный Ульянов, повторяю вторично: вам угодно исповедоваться и принять таинство святого причастия?

Он поднял голову и удивленно посмотрел на грузного человека в золотых ризах. Священник... Задумавшись, Саша не заметил, как тот вошел в камеру.

— Причастия? — тихо переспросил Саша. — Какого причастия?

Священник вздохнул:

— В соответствии с действующими положениями судопроизводства обязан причастить вас и соборовать перед совершением над вами приговора.

Саша медленно поднялся из-за стола. Вот оно что... Значит, скоро... Значит, осталось совсем немного...

— Так вам угодно исповедоваться и принять таинство святого причастия?

— Нет.

Священник нахмурился.

— Сколько вам лет, молодой человек?

— Двадцать один.

— Я бы не советовал вам пренебрегать духовной помощью, которая хотя бы частично может облегчить вашу участь.

Саша бросил быстрый взгляд на попа, усмехнулся:

— Оставьте ваши советы. Здесь они неуместны.

Священник пожал плечами, сделал что-то вроде полупоклона, попятился назад. Щелкнул замок.

VI

Саша сел на кровать. Все, конец. Осталось всего несколько часов. Может быть, часа три... А может быть, только два...

Что нужно еще сделать? Что забыто? Пожалуй, ничего.

Письма написаны, мысли приведены в порядок, раздумья завершены — всему подведен итог.

Итак, жизнь заканчивается... Как была она прожита? Скорее всего правильно. Жалеть почти не о чем. Были ли в ней ошибки? Нет. Впрочем... Нет, нет, ошибок не было. Были недоразумения, а ошибок не было. Он всегда старался жить по самым высоким образцам. Ему не в чем упрекнуть себя.

Но царь остался невредим. Стечение обстоятельств. Просто не повезло. Они все делали правильно. Желябов на его месте вряд ли придумал бы что-нибудь лучшее. Но Желябову повезло, а им нет... Не имеет значения. За ними выйдут на улицы Петербурга с бомбами другие. Дорога борьбы указана. Судьба царя все равно предрешена.

На мгновение, прикрыв глаза, он попытался еще раз представить все с самого начала. Как собрались они после добролюбовской демонстрации, как были сказаны первые слова, как постепенно начала оформляться фракция. Пожалуй, это были лучшие воспоминания. В то время все казалось легко выполнимым, все выглядело в ясном и радужном свете.

Однажды в солнечный и снежный зимний день они шли вместе с Лукашевичем по набережной Невы к Галерной гавани. У Лукашевича жил там знакомый слесарь, и они хотели купить у него инструменты, чтобы начать делать металлические оболочки для бомб.

В тот день погода была действительно редкой для Петербурга — солнце и снег одновременно.

— Александр Ильич! — кричал громадный Лукашевич, выбегая на середину мостовой. — Смотрите, какое солнце! Кумачовое! Как флаг Парижской коммуны!

Осторожный Саша прикладывал палец к губам и незаметно оглядывался: не слышал ли кто? Лукашевич возвращался к нему, брал под руку, шептал на ухо:

— Вы знаете, Александр Ильич, рассказывают, что в день выступления декабристов в 1825 году была тоже очень морозная и солнечная погода!

— Почему «тоже»? — кутаясь в воротник пальто, спрашивал Саша. — Вы что же, сегодня собираетесь совершить акцию?

Лукашевич смеялся.

— Нет, это я просто так. К слову пришлось. — Закинув назад свою крупную красивую голову, Лукашевич говорил уверенно и почти торжественно:

— Я много раз думал о том, почему декабристы выступили именно после смерти Александра Первого? Очевидно, смерть царя в России всегда воспринималась как начало какой-то новой жизни... И действительно, новый самодержец всегда нес с собой новые черты характера, привычки, новые взгляды. И от

этих привычек и взглядов зависела жизнь миллионов людей на долгие годы...

У знакомого слесаря полного набора инструментов для изготовления бомб не оказалось. Саша и Лукашевич договорились, что зайдут завтра. Но когда они пришли на следующий день, в комнате слесаря сидело еще человек пять мастеровых. Саша вопросительно посмотрел на Лукашевича, но хозяин, перехватив этот взгляд, поспешил успокоить пришедших.

— Вы, господа студенты, не извольте беспокоиться. Это все свои ребята — с Галерной, с Васильевского острова.

Он провел Сашу и Лукашевича в соседнюю комнату.

— Кое-что достать удалось, — зашептал хозяин, — но опять с препятствиями. Ведь в полный-то голос интересоваться, у кого что есть, нельзя, потому как...

— А кстати, — перебил его Саша, — почему вы сейчас говорите не в полный голос?

Слесарь сделал рукой неопределенный жест.

— Ничего секретного и предосудительного в нашей просьбе к вам нету, — сказал Саша. — Инструменты нужны нам для занятий физического кружка. В наших университетских мастерских многого не хватает, вот мы и обратились к вам.

Слесарь озадаченно посмотрел на Лукашевича, но тот сделал головой движение — говорить, мол, на эту тему больше не следует.

— А зачем вы собрали столько народу у себя к нашему приходу? — поинтересовался Саша.

— Да ведь как сказать? — почесал в затылке смущенный хозяин квартиры. — Интересуются ребята насчет жизни, и вообще...

— Значит, только мы познакомились с вами, как вы приглашаете к себе людей в надежде на то, что мы начнем откровенный разговор с теми, кого видим в первый раз? — прищурился Саша.

— Поговорить, конечно, было бы желательно, — раздумчиво сказал слесарь, с интересом разглядывая невысокого худощавого студента. — А то ведь у нас жизнь какая? На работе язык к щеке приклеен, там разговаривать некогда. А после работы только с бабой дома ругаешься.

— Почему же вы решили, — спросил Саша, — что именно мы удовлетворим вас как собеседники?

— А дело здесь вот какое, — опять зашептал хозяин. — Некоторое время назад заглядывали к нам вроде вас, студенты. Книжки приносили, про жизнь объясняли — как разные планеты устроены. Ну, я подумал, что и теперь такое же дело. Инстру-

мент вам вроде бы для одной видимости нужен, главное — разговор душевный провести.

Саша помолчал немного, потом посмотрел на Лукашевича и сказал:

— Ну хорошо, про инструменты больше говорить не будем, особенно в соседией комнате. Как будто у нас с вами о них и речи не было.

Слесарь приложил руку к груди: все, мол, понятно и будет исполнено.

— А задушевный разговор с вашими товарищами провести, наверное, можно. Как вы думаете, Иосиф Демеитьевич?

— Я думаю, что можно, — согласился Лукашевич.

— У вас как народ, — поинтересовался Саша, — надежный? А то ведь у меня об устройстве планет совсем другое мнение, чем, например, у городского полицмейстера.

Хозяин квартиры улыбнулся:

— За это будьте покойны: тут ребята все грамотные, солидные. Некоторые даже книжечки читали, за которыми господин полицмейстер охотится.

Народ действительно оказался на редкость подготовленным. Саша начал было издалека — с материалистической концепции истории человечества, с зарождения классов, но один из слушателей, разбитного вида парень в красной косоворотке, несмотря на протесты товарищей, перебил его:

— Ты нам лучше вот какую штуку объясни, господин хороший... Мы тут, пока вы за стеной шептались, заспорили между собой. К примеру, скажем, хозяин наш — я на верфях клепальщиком работаю — на моем загривке в рай едет, брюхо с моих мозолей растит — это слепому видно. Но бить меня он не смеет. Тут — шалишь! Ежели, скажем, он меня в зубы, я ему тут же сдачи. Да и выгоды ему нету меня зубатить, потому что битый я уже и работать буду без охоты и он на мне в неделю не рупь заработает, а только полтину. Это ясно... Теперь берем городового. Стоит он, скажем, на углу Гороховой и Фонтанки — ни сват мне, ни брат, ни хозяин-батюшка. А шепни я ему грубое слово или что-нибудь против бога — он мне сразу в ухо или под микитки, а я его — не моги, потому как власть. Вот и выходит, что городовой мне больше вражина, чем хозяин, он меня сильнее гнет. А студенты, которые книжки раздавали, толкуют наоборот: хозяин-де ваш главный враг, а городовой — это, мол, так, ерунда, мелочь.

— Правильно, — вступил в разговор Лукашевич, — первым вашим врагом был, есть и остается хозяин, капиталист, фабрикант. Городовой имеет власть только над вашим поведением, а

контроль хозяина распространяется и иа ваш труд, н на быт, и на созианне. Гиет городового — это только часть общего политического гиета, а гиет хозяииа — экономнческий. В руках городового свисток и сабля, а в руках хозяина — орудия и средства производства, фабрнки, заводы, верфи. Городовой — это только слуга хозяин, которого хозяин наннмает так же, как н вас.

— А я вот чего скажу, — придвинулся вперед пожнлой солидиый мастеровой с густыми черными усами. — Хозяин, он хоть и нажимает на нас, но и нам заработать копейку дает. А будешь его за врага держать, будешь ему грубить — он с тебя штраф, а потом за ворота. А у тебя семья, дети. Куда же ты денешься? К другому хозяину пойдешь ианиматься, если только душу твою грешную в чериые списки ие включили... Нет, ребята, с хозяином нам ссориться ии к чему, с хозяином надо ладить, потому что от его орудий производства, как вот господа студенты их называют, и нам кусок хлеба перепадает.

— А вы подумали о том, — сказал Саша, — что если бы эти орудия производства, эти заводы и фабрики принадлежали не отдельным хозяевам, а всему народу, то была бы совсем другая жизнь: без штрафов, без увольнений, без постоянной боязни остаться голодным?

— Это как же всему народу? — удивлению подиял брови парень, первым иачавший разговор.

— Очень просто, — улыбнулся Саша. — Заводы, фабрнкн, пароходы, земли, банкн становятся достоянием нацнн, государства. Частная собственность на них уничтожается.

— Постой, постой, — подиял руку парень. — Ежелн, скажем, у Путилова имеется четыре своих парохода, разве он их кому отдаст?

— Не отдаст, надо взять силой! — крикнул Лукашевич.

— Да кто же будет брать-то, милый человек? — усмехнулся усатый мастеровой. — У кого рука иа Путилова поднимется?

— Брать должны те, кого Путилов угнетает, на ком он наживается, чьи мозоли Путнлов превращает в свои доходы! — горячился Лукашевич.

— Это, выходит, что мы, что ли, должны у Путилова пароходы оттяпать? — иедоумениo смотрел иа Лукашевича разбитной парень в красной косоворотке.

— Конечно, вы!

— А в Сибирь ие хочешь? — вскочил со своего места усатый. — Сколько вас таких ловких, чтобы с Путиловым тягаться? Ты, Петруха, да четыре уха! А за Путилова царь, да полиция, да все войско встаиет.

— Как это ни печально, но вы правы, — вмешался в разговор Саша. — Класс промышленных пролетариев у нас действительно пока еще очень слаб и малочислен для самостоятельных политических действий. Поэтому сейчас свое главное внимание передовая часть русского общества сосредоточивает на крестьянстве, на классе земледельцев...

— Это почему же такое? — нахмурился молчавший до сих пор хозяин квартиры. — По-вашему выходит, что мужик надежнее, чем наш брат, ремесленный человек?.. Да мужику сейчас на все наплевать, он волю получил, он только об одном думает, как бы у казны надел свой поскорее выкупить, да лошаденкой обзавестись, да в хозяйство зубами и ногтями вонзиться... Нет, уважаемые, вы мне про крестьянство и не рассказывайте. Я и сам-то деревенский, хотя сейчас уже по слесарному делу определился. Мужика сейчас свободой на сто лет вперед от всяких бунтов и революций отвлекли, ему теперь до города и делов-то никаких нету. Мужики сейчас между собой будут разбираться, как бы за счет соседа копейку круглее зашибить, как бы сватьев да кумовьев в свою тяглу ловчее припрячь, а самому бы в сильненькие выскочить, в купецкое звание!

— Это верно, — вздохнул один из слушателей, рябой человек с рыжеватой бороденкой. — Что верно, то верно... Я летошний год к себе в Псковскую губернию ездил, хотел было на хозяйство становиться. Так ведь деньжонок-то маловато оказалось, еле-еле на избу набрал да на корову. А брательники мои единоутробные третий год стадо в два десятка голов пасут, молоком торгуют, маслом, творогом. Дядья мельницу на ручье ладят, по тысяче пудов в обмолот берут. Я к ним было в долю проситься, а они меня на смех подняли: на кой, говорят, леший нам твои заплатки в долю нужны. Поезжай в город, скопи какой-никакой капиталец, тогда и разговаривать будем. Ну, я и подался обратно, на верфи...

— Во, слышите, что человек рассказывает? — повернулся к Саше слесарь. — А вы говорите, что на земледельцев обращает свое внимание передовое общество... Да разве дядья его или брательники будут это передовое общество слухать? Сморкнутся они через два пальца на это общество, и дело с концом... Они спят и видят три мельницы вместо одной, сто голов вместо двух десятков — холопская должность-то надоела. Нет, господа ученые студенты, плохо, видать, вы теперешнего мужика знаете. Мужик ноне весь переворотился и по-новому укладывается. Да и далеко он отсюда находится, от вашего передового общества. Его, мужика-то, из города не видать. А вот мастеровщина-ма-

тушка, которая по шестнадцати часов в сутки ломит да которую штрафами всякая сволота душит, — мастеровщина, она под рукой. Вот она-то злобы на эту собачью жизнь накопила по ноздри и выше. Вот на нее-то обратить внимание передовому вашему обществу в самом скором времени очень даже требуется. Потому как терпежу иногда совсем никакого нету, кулаки чешутся, а голова дурная, глупая — куда ногами идти, сказать не может... И вот и получается, что от всякого неудовольствия, от каждого прижима путешествуют такие темные ноги прямым курсом в кабак — дорожка наезженная. А там картина известная: залил глаза винищем, въехал в рожу другу-приятелю или прохожему, какой под руку подвернется, ночь в участке проспал — вроде и облегчился, вроде и вся злость на жизнь прошла. А наутро снова голову в хомут суешь, как яремная скотина, и снова гнет тебя хозяин, снова по плечи в землю вбивает...

Парень в красной косоворотке, слушавший слесаря с удивленно открытым ртом, сглотнул слюну, стукнул кулаком по столу:

— А ведь правду Степан говорит, истинный бог, правду! Ведь пьем же, стервецы, как лошадье. Нажрешься в субботу, дяде Васе скулу набок или он тебе — и вся давления, которую за неделю накопил, с тебя соскочила! А так, чтобы головой разобрать, какую куда мысль пристроить, — этого нету!

— Мы темные, темные, — продолжал между тем хозяин квартиры, — но кое в чем тоже разбираемся. Человеческую боль — ее всякий понять может. Я когда мальчонкой в город к брату приехал, дурачок был, в церковь ходил попов слушать. Думал, что только в деревне по бедности плохо живется. А пожил здесь, погорбатился на заводах да на ткацких фабричонках — тут меня и стали разные мысли, как червяки, со всех сторон буравить... Ведь больно уж много кругом кнутов всяких, слезы непролитой, несправедливости. Ведь давит такая обидная жизнь на грудь, жмет сердце. А тут еще студенты подвернулись с книжечками и все талдычат, как сороки: Карла Маркс, Карла Маркс, он-де первый друг мастеровому человеку, вроде как заместо отца родного. Мы, значит, читать попробовали этого Карлу — ничего не поняли, больно мудрено закручивал. А студенты перестали ходить, совсем пропали, только в башке намутили. Ну, мы, как вас-то увидели, сразу и подумали, что вы от тех студентов пришли, сразу и полезли к вам, как говорится, через душу со своим разговором... Потому что книжечки, они, конечно, хотя и непонятные, но мозги шевелят. А спросить что и как — не у кого. Вы уж простите нас, если задержали вас или чего не так сказали...

VII

Саша поднялся с койки, подошел к решетчатому окну.

В тот декабрьский вечер, когда они возвращались с Лукашевичем из Галерной гавани, он под влиянием разговора с мастеровыми впервые и как-то по-новому подумал о главной концепции экономических статей и книг Маркса, которая в будущей революции так настойчиво отводила первое место именно классу промышленных пролетариев. Маркс утверждал, что промышленные пролетарии — это наиболее революционно последовательная часть общества, которую никогда не удовлетворят никакие реформы и другие прогрессивные полумеры и которая будет в силу своего безвыходного положения всегда добиваться решительного изменения самого принципа распределения материального продукта.

И действительно, такой человек, как, например, этот слесарь Степан, и парень в красной косоворотке, и тот с рыжеватой бороденкой, у которого дядья и брательники, пользуясь наступившей волей, бешено наживают копейку, — все они, кому обидная жизнь жмет на сердце, воспримут слова Маркса о своей исторической миссии по переустройству жизни с восторгом, если только объяснить им все это толково и доходчиво. Ведь чувство протеста против существующего строя у них рождается не из головы, не из рациональных источников, как в большинстве случаев у учащейся молодежи, а непосредственно из прямого жизненного опыта, из тяжелого материального положения. И если растолковать им мысль Маркса об активной роли промышленных пролетариев в революции, если вовлечь их во фракции, в партию, то... лучших помощников в совершении террористических актов, чем этот слесарь Степан или парень в красной косоворотке (с их мастеровой смекалкой, привычностью к механизмам, твердой рукой и т. д.), лучших помощников нечего и желать.

С приходом в борьбу именно таких людей, до краев переполненных ненавистью к царю, к полиции, к штрафующей их на каждом шагу администрации, революция, несомненно, приобретет новое качество, и террор станет не только систематическим, но и массовым, с участием не десятков, а сотен активных членов партии. И наступит наконец такой момент, когда самодержавный трон Романовых будет смыт в небытие!

Его вывели во двор Шлиссельбургской крепости в пятом часу утра, когда первые разводы робкого пепельного рассвета уже

теплнлись иад иеровиой лииией крепостиой стеиы. Солица еще не было видио, но его далекий восход ощущался даже здесь, на дие холодного камеииого мешка, образоваииого иизкими мрачиыми зданиями с решетчатыми окиами и высокой кирпичиой кладкой.

Саша поднял голову. Светлело с каждым мгиовеиием все сильнее и сильиее. Между квадратными трубами тюремиого каземата плыли быстрые утреииие облака, и иекоторые из них, самые высокие и светлые, уже ловили первые лучн восходящего солица и, гоинмые ветром, выиосили из поля зреиня, за башни крепости, это летучее и прекрасиое видеине иачала иового дня.

Глядя иа облака и иа снине просветы иеба, возникающие иад головой, будто раииие проталины иа весеииеи и теплой реке, Саша вдруг понял и с оглушительной, разрывающей сердце ясиостью ощутил, что этот рассвет — последиий в его жизии.

Что-то оборвалось и упало в груди, мягко подломились иоги, ио ои тут же напрягся и, ие обращая больше виимаиия иа солеиый привкус во рту и морозиое покалывание в пальцах, а следя только за светлеющими облаками, быстро пошел через двор, по выложеииой крупиыми паиельиыми камнями дорожке туда, откуда доиосился свежий смолистый запах иедавио отесаииых и обстругаииых досок эшафота...

VIII

Симбирск.
12 мая 1887 года.
Актовый зал классической гимиазии.

Володя стоял перед столом экзаменациоиной комиссии иеестествеиио прямо, бледный и напряжеиный, как струиа.

Уже два дия в городе зиали, что старший сыи бывшего директора иародиых училищ действительного статского советиика Ильи Николаевича Ульяиова повешеи в Петербурге за подготовку покушеиия иа царя. Провиициальиый Симбирск, еще ии разу в своей короткой истории не переживавший столь необычного события, затаился в иемом иаблюдении за оставшимися в городе младшими братьями и сестрами казиеииого. И особо иастойчивое любопытство вызывал средиий брат, Владимир, сдававший в эти дни в гимиазии экзамеиы на аттестат зрелости. Сорвется или ие сорвется? И как теперь будет с золотой медалью, которую ему все прочили? Ведь иельзя же награждать высшим зиаком

гимназического отличия брата только что повешенного цареубийцы!

Саши нет. Его больше не существует. Его задушили веревкой восьмого мая, в тот самый день, когда он, Володя сдавал алгебру. Такие же чиновники, как эти члены экзаменационной комиссии, в форменных мундирах и сюртуках, читали ему приговор, вели на эшафот, смотрели, как он задыхается в смертной агонии...

— Ульянов, вы готовы к ответу?

— Да, готов...

Они хотели бы увидеть его растерянным и беспомощным, подавленным горем. Выслуживаясь друг перед другом, а главным образом перед начальством, они хотели бы, наверное, поставить на место младшего брата государственного преступника Ульянова, выставить ему низкую отметку, лишить медали, преградить дорогу в университет.

Нет, он не доставит им этого удовольствия. Он ответит и на этом экзамене лучше всех, как мог бы ответить Саша. Он будет бить их этими синусами и косинусами, этими прилежащими и противолежащими углами. Он добьется пятерки, и никакими переглядываниями и шепотками никто не собьет его, не заставит быть таким, каким он сам быть не хочет.

После ответа, узнав, что комиссия большинством голосов поставила ему пять, Володя быстро вышел из актового зала, спустился по лестнице и выбежал из здания гимназии. На Волгу, скорее на Волгу, подальше от всех этих вздохов, охов, ахов и соболезнований.

Завтра, тринадцатого мая, последний письменный экзамен, греческий язык, нужно было бы еще раз перелистать грамматику, но он сделает это потом, ночью, когда в доме все лягут, а сейчас — на Волгу, бегом на Волгу, как любил это всегда делать после экзаменов Саша. Только там, на безлюдных склонах крутого волжского берега, когда тебя никто не видит и не слышит, можно наконец сбросить с души и сердца эту оцепенелую маску собранности и непроницаемости и целиком отдаться тому слепому и безысходному отчаянию, которое охватило его утром десятого мая, когда почтальон принес на Московскую улицу экстренный выпуск «Симбирских губернских ведомостей» с правительственным сообщением о приведении в исполнение приговора над осужденными по делу 1 марта 1887 года к смертной казни через повешение Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевыревым и Ульяновым.

Деревянные тротуары прогибались под его быстрыми шагами, пугливо оглядывались вслед ему прохожие, которые почти

все знали его (городок-то был маленький, все высшие чиновники с чадами и домочадцами у обывателей на виду), а он шел стремительно и твердо, не оборачиваясь, прямо и гордо, подняв голову, мимо заборов и афишных столбов, на которых висели правительственные сообщения о казни его брата.

И только когда упали перед ним вниз с косогора к речному берегу густые зеленые сады, когда открылась в обе стороны вправо и влево широкая панорама Волги и Заволжья, он остановился и, обессиленно опустившись на первый попавшийся камень, разом и до конца отпустил все рычаги и пружины, сдерживавшие его действительное внутреннее состояние.

И уже чувствовал он, семнадцатилетний юноша Володя Ульянов — первый ученик, умница, золотая голова, человек с твердым и настойчивым характером, но все-таки, несмотря на все это, все еще юноша, мальчик, на полудетские плечи которого легли одно за другим и смерть отца, и казнь старшего брата, — уже чувствовал Володя Ульянов приближение облегчающих душу слез и готов был пролить эти слабые и горькие слезы, как вдруг неожиданно и внезапно, словно эхо лопнувшей вдалеке струны, родился у него за спиной и стал приближаться, шириться отчетливый и раскатистый металлический звук, превращаясь постепенно в густой и протяжный перезвон колоколов.

Был обычный час службы, звонили почти все симбирские монастыри и церквушки, выделялись басовитые голоса соборов, созывавшие прихожан под спасительные слова духовных пастырей, — все было знакомо, привычно, обыденно, но для Володи этот незримо подкравшийся и траурно ударивший над головой перезвон вдруг с неожиданной яркостью соединился с его обостренно подавленным настроением, с его отчаянием, с пронзительной близостью неудержимых и горьких слез, и все это вместе, образовав одно нестерпимо пронзительное целое, вдруг поразило его в неизмеримые сердечные и душевные глубины, запечатлелось в чувственном напряжении сознания отчетливо и невытравимо.

Словно подброшенный неведомой силой, он рывком поднялся с места.

Слезы погасли в нем.

Схлынуло отчаяние.

Стальная пружина непримиримости беспощадно распрямилась в груди.

Он ощущал ее властный и зовущий холод.

Он видел перед собой Волгу, изогнутую, как кривой разбойничий нож.

Река играла свинцовыми отблесками волн, и в руки просилось оружие, кинжал, меч, и хотелось броситься туда, в Петербург, и в неуемной мальчишеской ярости, догнав тех, кто повесил брата, бить их, бить, бить, бить руками, колоть мечом, кинжалом за мучительно задохнувшегося в царской петле Сашу...

И теперь уже не слезы, а ненависть застилала глаза стоявшему на берегу Волги семнадцатилетнему симбирскому гимназисту Володе Ульянову.

Ненависть к этим сверкающим на солнце церковным куполам, к этому чинному и невозмутимому малиновому благовесту, к этому подлому укладу жизни.

...Вдруг снова что-то произошло вокруг него. Незримо сдвинулась даль. Сместилась уходящая к горизонту перспектива реки. Размытая сиреневой дымкой панорама заволжских лугов удвоилась, распахнулась от южного края неба до северного.

Дышалось легко, свободно. В глазах светлело — невидимые лучи скрытого за облаками солнца озаряли широким и ровным сиянием крыши домов в Подгорье, амбары у берега, белые стены церквей, гармошку лестницы на склоне холма.

И неожиданно весь город — и видимая его часть, и невидимая: монастырь, соборы, гимназия, Московская улица, Большая Саратовская, гостиный двор, пожарная вышка, дом губернатора — все это стронулось со своих привычных мест, двинулось чередой куда-то мимо него и, выстраиваясь одно за другим, догоняя и опережая друг друга, уплывало за Волгу, теряясь в глубине заречных просторов. (А может быть, это он сам двинулся в сторону от всего этого — от города, в котором прожил свои первые долгие семнадцать лет, — тогда он, очевидно, еще не мог достаточно четко и ясно понимать скрытый смысл всех происходивших в его сознании и чувствах изменений.)

Еще не изреченные, еще не имевшие словесного строя и выражения истины рождались, наверное, в те мгновения на берегу Волги, в сердце и мыслях семнадцатилетнего симбирского гимназиста Владимира Ульянова. Свершения будущего, возникая из настоящего, отрывались от прошлого. Все меняло свои привычные масштабы, внутренние размеры и связи, духовные очертания. Все укрупнялось, взрослело, делалось более значительным, созревало в тысячные доли секунд. Детство кончалось. Из глубины предстоящего выступали новые контуры, прорезывались будущие горизонты.

И каким-то нереальным, вневременным, проникающим вперед сквозь пространство и годы зрения видел он себя идущим к этим далеким горизонтам. Это движение никак не объясня-

лось, ничем не мотивировалось, — оно существовало как данность, как аксиома, доказывать которую нет необходимости, а отказаться — возможности. Просто не могло быть ничего другого, кроме этого движения вперед, к будущим горизонтам, кроме утоления рожденной судьбой старшего брата пламенной страсти понять и осмыслить новые масштабы и связи жизни, увидеть ее новые контуры и очертания и, может быть, самому принять участие в создании этих новых жизненных форм.

Нет, город оставался на месте. Дома, улицы, церкви, соборы — все это не меняло своего прежнего, от века установленного положения. Все оставалось на этом берегу Волги. На тот берег, за Волгу, на широкий простор заречных далей уходил он сам, Володя Ульянов, его будущая судьба, его будущая жизнь, полная необычных событий и свершений.

Гибель брата меняла меру его жизни. От губернских, симбирских масштабов эта жизнь переходила теперь на масштабы всей России. Гибель старшего брата приобщала младшего к делам и событиям государственным. Еще ничего не совершив, еще не вложив в борьбу с существующим строем и тысячной доли из того великого вклада, который он сделает позже, еще неся протест против подлого уклада окружающей жизни только в себе, воспитанный только традициями семьи и примером отца, он, благодаря судьбе брата уже превращался в человека, для которого борьба с царизмом и все формы протеста против него становились устойчивыми нормами жизненного поведения — основой мироощущения и мировосприятия.

«Саша хотел убить царя, — думал Володя. — Ему надоели только книги, только теории, только абстрактные знания. Ему захотелось действовать. Ему захотелось событий и поступков... Но ведь одного царя уже убили... Значит, Саша хотел повторить то, что раньше сделали другие... Только повторить... Не слишком ли мало это для целой человеческой жизни — повторение уже совершенного до тебя?.. Нет, нужно что-то иное, более новое, оригинальное, самостоятельное. Нельзя быть только жертвой... А где это новое? В чем заключается это иное? В учении Льва Толстого, в личном самоусовершенствовании, в пропаганде добрых малых дел для каждого человека отдельно, в отказе от широких задач?.. Нет! Революция не может быть уделом избранных. Революции совершаются в интересах широких человеческих группировок, чтобы улучшить жизнь как можно большего количества людей. Только революция может сделать это... Ведь пытались, например, улучшить жизнь крестьян с помощью реформы, но из этого ничего не вышло. Крестьяне получили только внешнюю, формальную свободу. Земли они не получили.

Значит, чтобы по-настоящему освободить крестьян, нужно идти другим путем — не реформистским, а революционным...»

Колокола в церквах и соборах продолжали звонить над городом. «Какая это чушь, какой маскарад — все эти святые угодники, ангелы, серафимы и херувимы, — думал Володя. — В нормальной, естественной, а не придуманной попами жизни подавляющее большинство людей сейчас думает не о спасении души, не о загробном царстве, а о куске хлеба, о том, чтобы выгоднее купить что-либо или продать... А все эти соборы и храмы, все эти церкви и колокола только морочат людям головы, заменяя их действительные, реальные интересы интересами вымышленными, нереальными... Ведь о продлении жизни надо у докторов, у врачей просить, а не у бога...»

И с новой силой ощутил он в себе ненависть к окружающему его подлому, построенному на лжи и обмане укладу жизни...

Он уже знал, симбирский гимназист Володя Ульянов, что никогда не простит гибели Саши этому подлому укладу. В прекрасном и мученическом ореоле витал над волжскими берегами перед мысленным взором Володи Ульянова гордый и мужественный образ старшего брата. Он призывал к отмщенью, к борьбе, он навечно сеял в сердце Володи Ульянова первые семена еще не совсем ясного по конечному адресу, но уже твердого по своему бескомпромиссному существу протеста.

Пройдут годы. Новые встречи и знания приведут бывшего симбирского гимназиста к строгой научной теории революционной борьбы. В жестоком опыте жизни, в напряженной работе по созданию и организации социалистической партии русских рабочих растворятся впечатления детства, потеряют свои былые яркие краски картины юности. Но никогда не уйдет из памяти Владимира Ульянова та необычная весна 1887 года, тот трагический март, и суровый апрель, и скорбный май, когда на пороге только еще семнадцатилетняя жизнь опалила его юное лицо своим беспощадным дыханием.

И много, много раз потом — и в ссылке, и в тюрьме, и в эмиграции, и уже совсем много лет спустя, гуляя по дорожкам парка в Горках, ощущая тяжесть болезни, понимая неизбежную близость конца и подводя итоги своей жизни, вспоминал, наверное, он то холодное и ветреное утро 12 мая 1887 года.

Да, наверное, именно в то утро, когда он первый раз сдавал выпускной экзамен, уже зная, что в Петербурге повешен его старший брат, — наверное, именно в то утро на берегу Волги была окончательно поставлена первая веха его будущего жизненного пути.

В то утро он еще не знал до конца своей великой судьбы,

еще не мог догадываться, что встреча с учением Маркса поставит его во главе освободительного движения не только русских рабочих, но и пролетариев всего мира.

В то утро он, наверное, просто понял, что отныне протест, борьба, революция, ненависть к царю и самодержавию — все это становится делом всей его дальнейшей жизни, его главной и ведущей страстью.

Потом эти юношеские мысли и чувства обогатятся, расширятся, станут не только поступками профессионального революционера Владимира Ульянова, но и тактикой целой политической партии, совпадут с небывалым подъемом освободительного движения в России, но тогда, весной 1887 года, это были, наверное, только первые ростки, только первые зеленые всходы будущих потрясений и перемен, которые завещал младшему брату своей судьбой Александр Ульянов.

IX

Симбирский холм — посредине России. Скачи от него в любую сторону — одной и той же длины будет дорога до края русской земли. Крестами и куполами своих соборов высоко вознесен холм над Волгой, похож издали на шишкастый шлем на голове былинного богатыря, врос в местность лобасто, плечисто, осанисто, кряжисто. С вершины его, как с дозорной вышки, видится далеко, просторно, окоемисто. Особенно весной, когда новой синью распахнуты горизонты и, завершая преображение земли, широкой волной идет по ней половодье — разлив молодых, буйных, напористых, нетерпеливых вод.

Воды всей России, все льды с лица русской земли проносит Волга мимо Симбирского холма в свою энергичную и короткую полноводицу, в свое неудержимое и неоглядное водополье.

Зажглись снега во глубине лесов и полей, заиграли овраги калужские, рязанские, вятские, заговорили ручьи тамбовские и владимирские — бегут, бегут, бегут журчалые, ревучие воды на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен, бегут со всей Руси к Волге.

С чего начинается Волга? С первой живой капли, с первой теплой слезы, с того незабывного светлого ключика-родника, которым отмыкает земля зимнюю наледь над своей душой, отворяя весне стылые берега своих рек.

Рожденная во глубине России, петляя меж косогоров и холмов, пристально вглядываясь в русскую жизнь, босоного и неторопливо бредет Волга в своих верховьях по русской земле.

Будто странник с котомкой и посохом, словно мудрец с переполненным обидами и болями сердцем проходит Волга древние стольные грады Ржев и Тверь, Углич и Ярославль.

И вот уже грозят с понизовья первые косматые ветры, закручиваются пески над белыми плесами, кипят на быстрине волны, текут синие дали.

Под Нижним впрягалась Волга в бурлацкий хомут — эх ты, тетенька Настасья, раскачай-ка нас на счастье! — веселей ходи, сударики, дружней!

Налегала река на лямку мускулисто, мозолисто, трещали хребты бурлацкие, хрипела песня, мутнела Волга от крутой мужицкой испарины, роняла с языка первое слово соленое, а с плеча — первый клок пены...

Бурлачеством кормилась Волга от века. Крестили ватаги клетчатыми следами лаптей зализанные волнами отмели — набегала другая волна, ворчливо заравнивала пески, и только чайка жалобно кричала над тем местом, где еще недавно волоклась баржа, только ворон расклевывал вчерашнее пепелище — беднее бурлака одна птица.

Робкий кормился на Волге от ярма, бойки — от купецкого рублика, отчаянный — от разбойного ножичка.

Сбивались гулевые народы под высокую и лихую атаманову руку (сто чубов — вот те и орда ножевая), таились на островах, поминали песнями Емелю Пугача, Разина, Ермака, а лишь вывертывала из-за поворота на стрежень торговая расшива — кидались в струги, выгребали наперехват. Выскакивал из каютки в исподнем купчина — хозяин суденышка, вздымал над головой икону, бодрил богатыми посулами наиятых для бережения товара охранников, но уже летели с разбойных будар веревки с крючьями, уже маячили над бортами усатые казачьи рожи, уже лезли казаки на палубу, сшивались со стражей, крушили друг другу лбы кистенями. И спустя совсем малое время окутывалась расшива клубами смолистого дыма, полоскались по воде сорванные паруса, раскачивался на матче удавленный хозяин.

Слал царь-государь на Волгу, на защиту торгового промысла воевод и бояр с войском, садился воевода с войском в рубленую крепость, кормился от слез и пота рода христианского, навешивал дани на ближние и дальние народы, терзал православных, впадал в лихоимство.

И тогда уже не в ножички — в топоры бросался крещеный волжский люд. Выбивали бояр из теремов, сбрасывали с колоколен воевод и прочую знатную челядь, раскатывали крепости на мелкие бревнышки. Стекались под высокую атаманову руку многими тысячами, принимали под свои непокорные знамена

башкирцев, татар, чувашинов и всякие другие примученные племена. Гуляла неуемная оравушка по Волге сверху донизу и снизу доверху, брала в осаду города, жгла остроги... Тут уж не бояр-мздоимцев высылали матушки-императрицы на перёма бунтовщиков — европейские фельдмаршалы поспешали на выручку осажденным городам, отборные гвардейские гренадеры маршировали на Волгу. Мешкать было недосуг — трон под матушками качался вовсю.

По излову главных смутьянов везли их фельдмаршалы в железных клетках в Москву — рубить головы на Лобном месте перед праздными дьяками и ярыгами. А остатнюю голытьбу вешали прямо на сколоченных на плотах виселицах и пускали вниз по течению мимо мест их недавнего воровского гулевания — христианскому миру в науку и на устрашение. И путешествовали эти плавучие эшафоты от Казани и Симбирска мимо Самары и Сызрани, мимо Саратова и Камышина аж до Царицына, а иногда — и до самой Астрахани.

Воды всей России проносит Волга мимо Симбирского холма. Всю влагу с лица русской земли — ключи, родники, ручьи, реки, росы, туманы, дожди, жаркую испарину и пот ледяной, слезы сквозь смех и смех сквозь слезы — все несет Волга мимо Симбирского холма под колокольный перезвон его церквей и соборов.

Дин-динь-длон-длинь-длям-дон-н...

Блом-блин-тили-тилн-мдан-н...

Мбум-м-м...

Мбум-м-м...

Вот она, Волга, — незакатная дорога русской души, неизбывная формула русской судьбы, нескончаемая панорама русской жизни — весь русский белый свет.

Не единожды возносилась с ее берегов русская душа, оскорбленная неправедным устройством бытия, не единожды гремели по белому свету имена взращенных на ее берегах сынов, получивших в неоценимый дар от нее богатырский размах своих устремлений и надежд, титанический масштаб своих страстей и мыслей.

Никогда, наверное, не рождала Волга в человеческих сердцах и умах низких помыслов и мелких побуждений.

Только огромное, только значительное, только величественное давала Волга той душе, которая со светлыми думами выходила на ее берег.

Только негасимое пламя любви к жизни и людям зажигала Волга в глазах тех, кто утверждал в себе бескрайний разлив ее вод, ее бесконечный земной простор.

Только неистребимое желание сделать жизнь на земле разумнее и лучше дарила Волга тем, кто сливался с ней своим существом, кто стремился масштаб своих дел и поступков возвысить до ее величия, кто понимал и головой и сердцем, что жизнь на земле прекрасна и бесконечна, как бесконечна и прекрасна эта огромная и могучая русская река.

С чего начинается Волга?

Родник дает жизнь ручью. Ручей — реке. Река вытекает из горизонта и впадает в горизонт. Река вытекает из вечности и впадает в вечность.

Река рождается в ручье.

Ручей — в роднике.

Родник — каждой реке родина.

...Симбирский холм — посредине России. Воды всей России нескончаемо проносит Волга мимо Симбирского холма.

ЭПИЛОГ

8 мая 1887 года на эшафоте Шлиссельбургской крепости оборвалась жизнь Александра Ульянова.

Спустя полтора месяца после его казни семья Ульяновых навсегда покинула Симбирск.

Уезжали на пароходе. За буйными разливами городских садов, за туманным изгибом Волги оставались счастливые годы, прожитые безоблачно и беззаботно. Впереди лежала безрадостная, необеспеченная жизнь среди чужих людей, без отца и без старшего брата.

В начале июля 1887 года Мария Александровна вместе с младшими детьми приехала в деревню Кокушкино, куда была выслана из Петербурга под надзор полиции старшая дочь Аня.

Казнь Саши потрясла Аню. Ее угнетенное состояние часто сменялось нервными припадками. Особенно болезненно проходили они тогда, когда политическую благонадежность бывшей слушательницы высших курсов приезжал проверять жандармский чиновник.

— Мама, мамочка! — кричала Аня, прижав к горлу сжатые в кулаки руки. — Ведь они же задушили его, задушили!

Мария Александровна — маленькая, седая, вся в черном — молча прижимала к себе бьющуюся в рыданиях дочь.

В те дни, когда в Кокушкино приезжал жандармский чин, младших детей, Олю, Маняшу и Митю, уводила к себе тетушка Анна Александровна Веретенникова, но Володю чиновник обыч-

но просил не уходить до тех пор, пока он не заканчивал просматривать все находящиеся в доме бумаги и печатные издания.

Володя, по просьбе мамы, старался во время этих визитов не встречаться взглядом с жандармом: ненависть, яростно бушевавшая под угрюмо сдвинутыми бровями младшего брата Александра Ульянова красноречивее всякой запрещенной литературы говорила о направлении его мыслей

После отъезда полицейского последние силы оставляли Аню. Ее переносили на кровать, Мария Александровна садилась рядом и, опустив голову на руки, сжимала пальцами виски, стараясь скрыть от вернувшихся детей нервный тик. Тетушка Анна Александровна хлопотала возле сестры и племянницы, готовила компрессы, давала успокоительные порошки, а Володя, у которого все внутри разрывалось от горя, уходил из дому и не возвращался до самой темноты.

Через несколько дней, когда Ане становилось легче и она начинала ходить по комнатам, Мария Александровна просила Володю пойти погулять с сестрой, и Володя, бережно поддерживая Аню под руку, уводил ее на мельницу и дальше, через мост на плотине в сосновую рощу.

Они шли мимо старого заболоченного пруда, в котором ловил лягушек для своих опытов Саша, мимо деревянной купальни и полузатопленных мостков, куда любил приходить купаться с деревенскими ребятишками отец, смотрели на далекий лес, который все обитатели Кокушкина называли Шляпа, и им снова и снова, в который уже раз за эти печальные летние дни вспоминалось их недавнее счастливое детство, их общие семейные поездки в Кокушкино, когда все вместе на двух, а то и на трех подводах они лихо катили сюда из Казани. Илья Николаевич за кучера на первой, Саша на второй, Володя на третьей, все кричат, размахивают руками, смеются, улыбающаяся мама с опаской прижимает к себе младших, а разгоряченные, красные от возбуждения Володя и Саша щелкают кнутами, кричат на лошадей, стараясь обогнать отца, а Илья Николаевич тоже не сдается и, привстав на облучке, вдруг как засвистит по-разбойничьи, по-степному (даже хозяин коней, у которого арендовали подводы, с уважением посмотрит на их превосходительство), и все смешивается без разбора воедино — пыль, шум, стук копыт, хохот, визг, веселые и счастливые крики детворы.

Володя и Аня ходили по полям и оврагам, вдоль лесных опушек, подолгу стояли где-нибудь на пригорке, глядя на далеко расстилавшиеся впереди печальные равнины и изгибы реки, сидели возле недавно сметанных стогов сена, и Аня, когда Володя задумывался и не замечал ее взгляда, смотрела на него

долго и грустно, словно старалась найти в его лице черты старшего брата.

Иногда Аня начинала рассказывать о Петербурге, о Сашиных друзьях, вместе с ним взошедших на Шлиссельбургский эшафот, — о Шевыреве, Генералове, Андреюшкине — или о том, как за несколько дней до ареста Саша попросил ее перевести статью по зоологии из немецкого журнала, а когда она принесла ему перевод — вся квартира была заполнена полицией, и жандармы, узнав, что она родная сестра Александра Ульянова, тут же арестовали ее и без всяких разговоров, не предъявив даже ордера, повезли прямо в тюрьму.

Аня всегда начинала говорить неожиданно, как бы случайно вспомнив о чем-то, и так же внезапно вдруг умолкала, обрывая свой рассказ на полуслове, и тогда Володя, который слушал ее, обычно глядя куда-нибудь в сторону или на далекий горизонт, резко вскидывал голову, и по его молчаливому взгляду, по его широко раскрытым глазам Аня понимала, что он, казавшийся ей в начале их прогулки рассеянным и углубленным в свои мысли, на самом деле слушает ее так напряженно и внимательно, так близко к сердцу принимает все детали ее рассказа, так непосредственно и заново переживает гибель старшего брата, что не находит в себе даже сил скрыть то глубоко потрясенное внутреннее состояние, которого раньше, пожалуй, никто и никогда не замечал в нем, даже в тяжелые дни смерти и похорон отца.

В то лето 1887 года все близкие и знакомые Ульяновых отмечали огромную перемену, происшедшую не только в настроениях и манере держаться, но и как бы во всем физическом облике Володи. Он стал непривычно замкнут, почти неразговорчив, старался ни с кем, кроме родных, не общаться. Особенно необычным стал его взгляд — вроде бы ничего не видящий, отсутствующий, проникающий сквозь людей и предметы, и в то же время, когда что-нибудь привлекало его внимание, вызывающе пристальный, колкий, задиристый, с энергичнейшим волевым прищуром.

Печать огромной озабоченности, знак титанического душевного напряжения безошибочно угадывались в то лето на лице Володи Ульянова. Он как бы спрашивал всех, и в первую очередь самого себя: как быть? что делать? как жить ему дальше?

Этим вопросом, как атмосферным электричеством перед грозой, был как бы насыщен весь воздух вокруг Володи. Этот вопрос, задаваемый всегда молча и как будто бесстрастно, заставлял окружавших Володю опускать глаза, прекращать разговоры о пустяках и мелочах. Он как бы стал второй натурой,

невидимой сущностью младшего брата Александра Ульянова. Он обрывал смех, гасил улыбки, делал неуместными шутки, когда Володя входил в комнату, в которой до его прихода смех и шутки звучали.

Этот вопрос, исходивший из таких непостижимых для посторонего сердца глубин сосредоточенности на одной мысли, был настолько серьезен, настолько переполнен ежесекундной готовностью к взрыву, что уже начинал по-настоящему настораживать и даже пугать окружающих, и особенно Марию Александровну, которая лучше, чем кто-либо другой, понимала, какое решающее влияние может оказать трагическая гибель Саши на судьбу Володи. Она чувствовала, что Володя не был так болезненно и беспомощно сломлен, как Аня, что он не грустит подавленно и затаенно, про себя, как Оля, что он не мучается той безысходной физической мукой, какой мучилась она сама. Без разговоров, без слов, без объяснений ощущала она, как входит в юношескую натуру сына ранняя мужская суровость, твердая и не прощающая слабостей четкость в разделении людей на друзей и врагов.

Ясновидящим материнским зрением, позволяющим наблюдать в своих детях то, что недоступно другим, с тревогой отмечала Мария Александровна в то печальное кокушкинское лето в поведении Володи яростные и незаметные со стороны вспышки неукротимой внутренней энергии, упрямства, настойчивости, неумолимости.

«Вот они, — тревожно думала Мария Александровна, глядя на Володю, который всякий раз, когда речь заходила о Саше, делался похожим на грозовое облако, освещенное изнутри молодой, готовящейся к удару молнией, — вот они, эти переданные через головы поколений стойкие черты далеких крестьянских предков с их пожизненной и невытравимой памятью к обидам и оскорблениям, с их повышенной чувствительностью к несправедливости и насилию со стороны властей. Что-то будет, что-то обязательно будет — может быть, еще более страшное и трагическое, — хотя что может быть страшнее и трагичнее для матери, чем гибель сына в петле палача?.. Да, что-то будет, что-то произойдет с Володей. Не может не быть. Так подсказывает сердце, материнское сердце — самый верный и точный барометр поступков сыновей... Но как удержать Володю? Как остановить его? Как помочь ему избежать трагической судьбы Саши?.. Ведь должен же он понять, что не может повторять участи старшего брата, не может снова, еще раз оставлять ее одну, без мужской помощи, с больной Аней, с Олей, Митей и Маняшей на руках?..»

И чем чаще думала об этом Мария Александровна летом 1887 года в Кокушкине, наблюдая за своим семнадцатилетним сыном, за его быстро и не по возрасту мужающим характером, тем печальнее становилось у нее на душе, тем больше тревог и огорчений входило в ее усталое от невозвратимых потерь сердце.

* * *

В августе 1887 года сын действительного статского советника и брат казненного в Петербурге народовольца, золотой медалист Симбирской классической гимназии Владимир Ульянов поступает на юридический факультет Казанского университета. Уже с первых дней он чувствует к себе повышенный интерес не только со стороны однокурсников, но и главным образом со стороны студентов более старших возрастов, сверстников Саши. Всех невольно интересуют обстоятельства присуждения ему, Владимиру Ульянову, золотой медали. Ведь он же родной брат государственного преступника! И вдруг — золотая медаль... Как же так? Почему же министерство народного просвещения, как известно, самое реакционное и мракобесное учреждение царской администрации, не лишило Владимира Ульянова золотой медали? Значит, были и другие, какие-то особые, из ряда вон выходящие обстоятельства, которые оказались сильнее неудобств, возникших при награждении золотой медалью родного брата цареубийцы.

Что же это за обстоятельства?

Оказывается, Владимир Ульянов — человек с редчайшими, выдающимися способностями. По характеристике директора Симбирской гимназии, Владимир Ульянов за годы обучения проявил себя как исключительно одаренная, незаурядная личность.

...Итак, он родной брат Александра Ульянова, произнесшего на суде предсмертную речь, широко разошедшуюся по всей России. Его начинают приглашать на собрания студенческих кружков и землячеств, его просят рассказать о брате, на него устремлены жадные и любопытные взгляды, в которых он угадывает тот же самый вопрос, который мучил его летом в Кокушкине: как быть? что делать? как жить дальше? И он понимает, что эти жадные молодые взгляды объясняются его родством с Александром Ульяновым.

Но ему еще нечем ответить на эти взгляды.

Он живет общей напряженной студенческой жизнью. Он участвует в работе выборных студенческих организаций, которые вынуждены действовать тайно, так как свинцовый университетский устав запрещает открытое их существование. Он посещает

самые интересные и бурные студенческие сходки, выступает на них решительно и смело.

Он чувствует, что в силу особо сложившихся обстоятельств его жизни друзья и товарищи возлагают на него особые надежды, что от него ждут чего-то выдающегося, героического, ульяновского, чего-то необычного и нового.

И поэтому, когда волна студенческих выступлений, поднявшись в Москве, проходит почти по всем университетским городам России и достигает Казани, он, теперь уже сам испытавший мрачную и душную общественную атмосферу, конечно, не может остаться в стороне. Он в первых рядах бунтующих и непокорных. (Характерная деталь: и при подготовке выступления, и в самом актовом зале он все время держится не рядом со студентами первого курса, своими однокурсниками, а среди старшекурсников, ровесников Саши. Из сорока исключенных из университета студентов Ульянов — самый младший, а в возрасте Саши — больше половины.)

После короткого, двухдневного, заключения в городской тюрьме Володю определяют на ссыльное местожительство под гласный надзор полиции в деревню Кокушкино. И мама, бедная и верная мама, едет вместе с ним в его первую ссылку.

По дороге он пытается осознать все случившееся за последние дни, но убеждается в том, что его участие в сходке — это не то, чего от него ждали. Скорее всего это была его чувствительная реакция, вспышка, эмоциональный выход из критического напряженного состояния. Вопрос, заданный судьбой старшего брата, по-прежнему оставался открытым.

Зима 1887/88 года в Кокушкине проходит тягостно и уныло. Его никто не беспокоит назойливыми разговорами, никто не упрекает в том, что по его вине снова изменилась, а может быть, даже и окончательно сломалась жизнь всей семьи. Он замкнут, хмур, неразговорчив. Единственная страсть — чтение, бесконечное, запойное чтение с утра до вечера и даже по ночам. На чердаке старого дома он случайно обнаруживает связки годовых комплектов «Современника» чуть ли не за два десятилетия. Просматривая запыленные страницы шестидесятых годов, он находит статьи Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина.

Мученический ореол вилюйского Прометея, наивные юношеские аналогии, столь понятные и легко объяснимые в положении человека, попавшего под гласный надзор полиции в семнадцать лет, интуитивная тяга к судьбе и драматической фигуре крупнейшего революционного мыслителя России — все это, вместе взятое, если и не определило тогда еще твердой, возникшей

позднее привязанности к Чернышевскому, то, во всяком случае, надолго задержало внимание именно на его произведениях, печатавшихся на страницах «Современника».

Совершенно неожиданно, с давно необходимой поддержкой во взглядах и поисках жизненной позиции возникла со страниц старых журналов стальная фигура Рахметова — борца, титана, героя. Это было равносильно показавшейся на горизонте после многодневного океанского дрейфа земле.

Креплн мысли, определялись взгляды, выстраивались в строго обусловленный, причинный ряд впечатления и события, до этого тяготившие душу своей необъяснимостью. Пожалуй, впервые в жизни испытал он в ту зиму в Кокушкине, читая «Что делать?», освобождающее от растерянности влияние произведений Чернышевского на свои чувства и убеждения, ощутил единство нравственного тонуса этих произведений и своего положения и состояния.

Он почувствовал, что тоскливое внутреннее одиночество, которое возникло у него после известия о гибели Саши, со дня знакомства с Рахметовым как бы перестало тяготить его. Рахметов, а вместе с ним и Чернышевский вошли в круг его активных интересов, как входят старые и надежные друзья в одиночную камеру узника, проведшего без людей долгие и тяжелые годы.

Владимир Ульянов, еще не вооруженный в условиях Симбирска и Казани теми знаниями, которые он приобретает позднее, непрестанно и мучительно ищет ту могучую силу, которая была бы способна вывести его из тягостного эмоционального оцепенения. Читая Чернышевского, Володя постепенно убеждается в том, что такая сила существует, что философия и мировоззрение Рахметова и самого Чернышевского — прямое доказательство тому.

Чернышевский раскрепощает от стихийного чувства мести, выводит из готовности вспыхнуть по любому антиправительственному поводу (студенческая сходка, например) на дорогу сознательной и последовательной борьбы. Но с идеологией Чернышевского связан только что окончившийся этап, только что разгромленный на его собственных, Володиных, глазах отряд революционеров, делавших ставку на общественный строй, основанный на докапиталистических отношениях. С именем Чернышевского и с понятием народничества навсегда связано для Владимира Ульянова видение задушенного в царской петле старшего брата...

Нет, нет, это еще не весь ответ на вопрос, поставленный жизнью на эшафоте Шлиссельбургской крепости!

Но где же тогда он, этот окончательный ответ? Как соединить вызревающую пока еще только в сердце готовность к протесту, к борьбе с ясной и трезвой рациональной потребностью в более совершенной форме этой борьбы, чем только бомба и динамит?

Проходит еще чуть меньше года, прежде чем зимой 1889 года в Казани, куда семье Ульяновых разрешили переехать вместе с поднадзорными Аней и Владимиром, в руки младшего брата Александра Ульянова попадает «Систематический указатель лучших книг и журнальных статей 1854—1883 гг.», составленный членами кружка саморазвития города Троицка.

Указатель напечатан типографским способом под видом каталога библиотеки братьев Покровских в Челябинске. Он состоит из нескольких разделов. Раздел политической экономии начинается так: № 1 — К. Маркс. «Капитал».

Зимой 1889 года каталог библиотеки братьев Покровских попадает в руки Владимира Ульянова...

* * *

Уже с первых глав «Капитала» Владимир Ульянов испытывает ощущение того радостного, дающего освобождение от второстепенных мелочей жизни, легкого и счастливого подъема внутренних сил, которое он уже испытал однажды, читая на чердаке старого дома в Кокушкине статьи Чернышевского. С особым удовольствием воспринимает он строгую, выпуклую систему доказательств Маркса, могучий ход марксовской мысли.

Как человек, получивший возможность одновременно и прикоснуться к истине, и наполнить грудь кислородом, и насладиться только что сорванными с грядки свежими плодами, — вот с такой, очевидно, колоссальной жаждой отрыва от старой жизни и подъема на новую, свободную и мудрую ступень набрасывается Владимир Ульянов на работы Маркса и Энгельса, имевшиеся в те времена в Казани. С каждой новой страницей в нем просыпаются неведомые раньше даже ему самому его новые возможности, становятся на свои места все запутанные и непроясненные события его прежней жизни — казнь Саши, студенческое выступление, исключение из университета, арест, ссылка. С восторгом первооткрывателя наблюдает он, как развязываются все тугие драматические узлы непокорной до этого его уму сложной и противоречивой действительности, как заново, рождая в нем самом неизвестную ему еще энергию и не вкушенные им еще страсти, объединяются между собой вокруг него явления и предметы по новым законам и правилам.

Теперь ответ на вопрос, заданный жизнью на эшафоте Шлиссельбургской крепости, известен почти точно. Долой эмоции, долой бунтарство, долой стихийные взрывы! Есть наука, есть сумма объективных законов, по которым происходит свержение нелепой фигуры царя, по которым один общественный строй, один способ производства и распределения материальных благ неизбежно и неумолимо будет заменен другим. Есть наука, которая провозглашает: пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Есть наука, которая требует: угнетенные, объединяйтесь! Сегодня вы никто, завтра — все! За вами будущее. За вами судьба истории.

И эта наука соответствует умонастроению Владимира Ульянова, брата казненного народовольца Александра Ульянова. Он, Владимир Ульянов, тоже угнетен. Конечно, не так, как угнетены миллионы рабочих и крестьян, страдающих от ига помещиков и капиталистов. Он угнетен по-своему. Он угнетен исключением из университета, ссылкой, надзором полиции, угнетен министром просвещения Деляновым, который отказал ему, Володе, в праве продолжить образование.

Он, Владимир Ульянов, угнетен казнью Саши, страданиями мамы, болезнью Ани, он угнетен своим бесправным положением, когда ему запрещено проживать в крупных городах, запрещено учиться. И это в девятнадцать лет, когда потребность в знаниях проявляется с могучей, неудержимой силой.

Владимир Ульянов догадывается — все это и про него. Сегодня он никто — исключенный из университета, поднадзорный, лишенный элементарных гражданских прав. Но он хочет стать и станет этим «всем»!

Ему, Владимиру Ульянову, тоже нечего терять, кроме полицейских цепей бесправия, которые вот уже второй год опутывают его жизнь... Да, Маркс, конечно, прав: стремление угнетенных и обиженных изменить свое положение является одной из самых энергичных и могучих движущих сил истории.

Но применима ли его наука к русским условиям? Ведь теоретики народничества отрицают пригодность Маркса для русского освободительного движения. Очевидно, таких же взглядов придерживался и Саша. Значит, Саша был не прав?.. Но может ли быть не прав Саша? Может ли быть не прав человек, который кровью заплатил за возможность быть правым?

Если не прав Саша, то, значит, тогда не правы Чернышевский и Добролюбов, Рахметов и Базаров, тогда не правы Желябов и Перовская, Шевырев и Осипанов, Генералов и Андреюшкин. Значит, напрасно пролилась кровь Саши?

Этой дилеммой, этим не вскрытым тогда еще противоречием

заканчивается казанский период жизни Владимира Ульянова. Весной 1889 года Мария Александровна, наблюдая за сыном, начавшим тайно посещать один из казанских марксистских федосеевских кружков, и понимая, что возможность потерять второго сына становится день ото дня все реальнее, покупает на вырученные от продажи симбирского дома хуторок Алакаевку под Самарой, и вся семья Ульяновых снова трогается в путь по Волге.

А спустя всего лишь полтора месяца после отъезда Володи из Казани полиция производит аресты среди членов федосеевских кружков, и все члены семьи Ульяновых понимают, что Володю спасла мама, но об этом, как это заведено в доме Ульяновых после гибели Саши, вслух почти не говорят.

Трудно переоценить мудрый материнский шаг Марии Александровны, отведший угрозу от Володиной головы летом 1889 года. Многие из членов федосеевских кружков, арестованные тогда в Казани, в дальнейшем, после отбытия наказания, отходят от революционной деятельности, а сам Федосеев, который к девяностому году был одной из центральных фигур русского марксизма (и неизвестно, до каких высот поднялся бы он в будущей революции), сам Федосеев через несколько лет трагически погибнет в сибирской ссылке.

Владимир же Ульянов, оказавшись в Самаре, живя четыре лета подряд в деревне, на хуторе Алакаевке, общаясь с местными крестьянами, получает возможность тщательно и всесторонне обдумать те первые впечатления от чтения марксистской литературы, которые он получил зимой восемьдесят восьмого и восемьдесят девятого года в Казани, и проверить эти впечатления на конкретном экономическом положении алакаевских крестьян.

Но главное значение поступка Марии Александровны, главный смысл своевременного переезда из Казани и жизни в Алакаевке, безусловно, заключался в том, что именно здесь, за городом, на хуторе, глубоко и спокойно изучая новую марксистскую литературу и постигая русскую крестьянскую действительность одновременно, Владимир Ульянов приобрел те теоретические и практические знания, то ничем не заменимое глубинное познание русской жизни, которое в самом скором времени позволит ему стать одной из наиболее заметных фигур среди самарских марксистов.

Именно богатые алакаевские впечатления, именно алакаевский период изучения и осмысления марксизма дают возможность младшему брату Александра Ульянова вести свои знаменитые споры с самарскими народниками. И споры эти впервые

сделали имя Владимира Ульянова самостоятельно известным в русской революционной среде.

Но все это еще впереди.

Пока же весной 1889 года Володя Ульянов уезжает из Казани с сомнением в научной истинности народнического мировоззрения, в идеалах и убеждениях, озаривших его юность печальным и трагическим отблеском. Он еще не может диалектически размежевать судьбу Саши и учение Маркса, а потом снова, опять же диалектически, соединить их в своем сознании в один последовательный, причинный исторический ряд. Новое противоречие, новая дилемма возникает в жизни Владимира Ульянова, когда впервые он начинает задумываться над трагической неправотой старшего брата. Преодоление этого противоречия поставит Владимира Ульянова на следующую по сравнению с братом историческую ступень в понимании судеб и задач русского освободительного движения.

Спускаясь летом 1889 года на пароходе из Казани в Самару, младший брат Александра Ульянова как бы все дальше и дальше уходил от стихийного, юношеского, кровного отношения к судьбе брата и к тем идеалам, за которые тот боролся и погиб.

По всей вероятности, еще не осознавая в полной мере исторического значения хода своих мыслей и рассуждений, девятнадцатилетний Владимир Ульянов совершал — пока еще только в своем сознании, в остро драматической для себя форме отказа от героических идеалов старшего брата — гениальный переход к следующему этапу русской революции.

Подъезжая к Самаре и глядя с палубы на первые отроги Жигулевских гор, вершины которых, как годы прожитой жизни, оставались за кормой парохода (как оставался когда-то за изгибом реки высокий Симбирский холм с крестом и куполами своих соборов), с болью думая о том, что дальнейшее знакомство с Марксом все чаще и чаще заставит его думать о трагической неправоте Саши, девятнадцатилетний Володя Ульянов уже как бы преодолевал тот последний водораздел, тот крайний рубеж, который отделял его будущую судьбу от судьбы старшего брата.

Пройдет еще несколько десятилетий, и жизнь вынесет свое твердое и безошибочное суждение о том, что между братьями Ульяновыми действительно лежал рубеж истории — водораздел русского освободительного движения, преодолев который Владимир Ульянов открыл в мировой истории ее новые возможности и перспективы.

Об авторе

Высокая задача творчества

«Время — категория неуловимая, почти не существующая. Оно идет, бежит, струится мимо нас, уходит сквозь пальцы и годы, но чтобы все-таки попытаться ощутить его, попытаться понять его суть, для этого, наверно, нужно хотя бы один раз попробовать взглянуть ему в лицо сразу во многих местах земли, на разных широтах и долготах одновременно.

Взглянуть, чтобы схватить и мыслями и чувствами этот неуловимый, не дающийся в руки, вечно убегающий в будущее смысл времени, чтобы запечатлеть в своем сознании этот вибрирующий, «фосфоресцирующий» в пространстве и в человеческих душах смысл не только в двух красках — белой и черной, но и во всем его истинном и реальном богатстве...»

Красивые и точные слова.

Время... Но при всей его неуловимости, неосязаемости Оно реально, Оно воистину может незаметно протечь между пальцами, но, схваченное под уздцы крепкой рукой, оно оставит умелому ездоку прекрасные дары — города, несметные богатства земли, светлый солнечный мир — с его добрыми идеями, добрые книги. Непросто оседлать время. Для этого надо уметь не жалеть себя. Научиться не жалеть себя. Жить не в тихой заводи личного благополучия, а на самой стремнине сложного и возвышенного человеческого бытия.

Приведенные выше слова из яркой, публицистической книги Валерия Осипова «Ускорение» мне представляются ключом к пониманию творчества этого талантливого писателя, отправной точкой для многих книг, написанных им, в каком бы жанре они ни решались — очерка, лирической повести или исторического романа.

Жить на стремнине... Для журналиста Валерия Осипова, обошедшего, объехавшего, облетевшего всю нашу страну и многие зарубежные государства, свидетеля открытия первых якутских алмазов и первой тюменской нефти, неутомимого газетчика с репортерским блокнотом в руках, блокнотом будущего писателя, мир навсегда остается исключением, щедростью обстоятельств, подарком судьбы. Находить в каждом дне прекрасное, уметь подойти к обычным явлениям каждый раз с принципиально новых жизненных позиций, обогатить опыт совре-

менников мудростью минувших дней — ну какая еще задача человеческая может быть выше?..

Валерий Осипов редко пользовался чужими источниками. И тогда, когда был он корреспондентом «Комсомольской правды», и когда стал спецкором центральных журналов и постоянным автором крупнейших издательств. В основу повестей, рассказов и очерков ложились всегда личные впечатления, личные контакты с людьми, а потом героями книг. В его творчестве — и это может показаться странным — нет ничего придуманного, нереального, такого, что не имело бы конкретного жизненного прототипа.

Он родился в Москве в 1930 году. Окончил факультет журналистики МГУ, работал в «Правде», «Комсомолке», журнале «Юность». В 1957 году опубликовал свою первую повесть «Неотправленное письмо». Вы, наверное, помните эту вещь, но скорее не по журналу, а по фильму, который совершенно блистательно сняли Михаил Калатозов и Сергей Урусевский. Если можно говорить об актерском букете, то в этом фильме был представлен действительно букет выдающихся артистов кинематографа: Татьяна Самойлова, Евгений Урбанский, Иннокентий Смоктуновский и Василий Ливанов. Речь в этом фильме шла об открытии якутских алмазов, о трагедии первопроходцев, о величии их духа. О людях молодых, о людях прекрасных. Они не придуманы Валерием Осиповым, нет, он знал их каждого в лицо, он шел вместе с ними через таежные буреломы и завалы, он вместе с ними бил первые шурфы. И оттого трагическая история, рассказанная писателем, воспринимается с полной верой и великим оптимизмом. Ибо подвиг реальных людей не остается безымянным. Им ставят памятники благодарные потомки. Город Мирный — это ли не памятник?

Их было четверо: геологи и проводник. Погибли все.

Помните? Знаменитые Кошурников, Журавлев и Стофато... Они проложили жизнью своей дорогу Абакан—Тайшет. Они, их имена остались в названиях станций железной дороги. А герои Осипова просто открыли месторождение алмазов. И их имена не стали названиями приисков, трубок, городов. Но они были. Герои Осипова — это тоже истинные герои, чьи имена живут в художественной литературе, стали образами нарицательными, и силой авторского домысла превратились в конкретные лица.

Начиная с конца 50-х годов Валерий Осипов выпустил много книг. Среди них — «Тайна Сибирской платформы», «Алмазы Якутии», «Солнце поднимается на востоке», «Серебристый грибной дождь», «Современная сказка» и другие. Герои этих книг — наши современники, люди, для которых жизнь невозможна без напряженного и самоотверженного труда, без романтического отношения к действительности, без выработки ясных и твердых убеждений. Все они — геологи, буровики, нефтяники, охотники — люди сложных судеб и характеров, романтики и правдолюбы. Как я уже говорил, они не придуманы автором, они лично знакомы Валерию Осипову. Но это не значит, что писатель — документалист в чистом виде. Нет, он прежде всего художник, и потому из-под пера его выходят герои, которых мы с вами нередко встречаем в жизни.

«Годы репортерской жизни, — писал Валерий Осипов в «Ускорении», — остались за спиной, в ящиках письменного

стола, — десятки исписанных блокнотов, карта — моя старая испытанная «лаборатория», моя кандидатская, а может быть, даже и докторская «диссертация» приключенческих и путешественнических наук — настолько испещрена маршрутами дорог и всевозможными путевыми значками, что теперь на ней, казалось бы, не проложить уже ни одной новой дороги, ни одного нового полета...»

Но писатель нашел эту, еще не исследованную дорогу и пошел по ней, пошел к концу прошлого столетия.

В 1970 году вместе с ныне покойным народным художником Советского Союза Николаем Николаевичем Жуковым Осипов выпустил книгу-альбом «Владимир Ильич Ленин». Критика сразу откликнулась на это издание, назвав его «удивительно сердечной книгой о Ленине». Это был серьезный подход писателя к ленинской теме. И то, что он оказался удачным, во многом определило дальнейшее творчество Валерия Осипова.

В том же году в журнале «Дружба народов» увидел свет его роман «Апрель».

Бывает так в жизни: кажется, все знаешь о человеке, тем более человеке знаменитом, человеке, имя которого навсегда вписано в историю русской революции. Я говорю об Александре Ульянове. И вдруг сам для себя выясняешь, что тебе на самом то деле почти ничего не известно. И все эти твои знания ни на чем, как говорится, не основаны. Дело ведь в том, что, оказывается, в нашей художественной и документальной литературе о старшем брате Владимира Ильича в общем-то написано чрезвычайно мало. Есть несколько коротких воспоминаний, есть упоминания о том, что он был казнен как террорист. Появляется он в первом акте пьесы Попова «Семья». И все. Но ведь идеи и смерть Александра на эшафоте оказали огромное влияние на формирование характера его младшего брата Владимира.

И вот мы открываем первые страницы романа «Апрель». «Петербург. 26 февраля 1887 года. Утро. Конспиративная квартира на Александровском проспекте. Лихорадочно работавшая всю ночь группа террористов приводит наконец в боевую готовность три разрывных метательных динамитных снаряда. Вставлены запалы. Названы пароли, отзывы. Уточнены явки. «Присядем, — говорит кто-то негромко, — присядем по обычаю». Все садятся. Тишина. Мысль у всех одна: «дорога» на этот раз может оказаться дальней. Очень дальней».

Не правда ли, странный стиль? Сейчас его принято называть телеграфным. Но чем дальше я вчитывался, тем больше понимал, что другим языком эта книга и не могла быть написана, ибо незаметно для читателя автор сразу сгущает атмосферу действия, нагнетает напряжение. И мы уже с первых строк ощущаем тревогу, видим, именно видим решительность и полную отрешенность во имя идеи. Но какова же была идея?

Ровно шесть лет назад, почти день в день, бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким, был убит император Александр II. С тех пор русское правительство неоднократно заявляло, что в России нет и никогда больше не будет ни одного террориста. Прошло шесть лет, и вот они снова стоят, три юных рыцаря революции, напротив царского дворца с бомбами в руках. А четырьмя месяцами раньше, на квартире, где

жил студент Александр Ульянов, собрались организаторы только что разогнанной нагайками студенческой демонстрации. Говорил Ульянов:

«Правительство уверено, что знамя и идеалы «Народной воли» забыты, погребены навсегда. Мы должны поднять это знамя. Ведь могли же открыто бороться с самодержавием Желябов, Перовская, Кибальчич и десятки других патриотов. А разве мы не можем этого сделать? Я уверен, что если не оскудела еще Россия тиранами, то не оскудела она и героями. Ценой своих жизней они не дадут потухнуть искрам протеста и своей борьбой, а если понадобится, то и смертью, позовут на сражение с самодержавием следующее поколение революционеров».

Старшему на этой сходке было 26 лет. Александру Ульянову — 20. 21 год ему исполнится, когда он будет уже сидеть в камере, ожидая приговора. И Александр Ульянов, студент Петербургского университета, юноша, которому великий Менделеев прочил блестящее будущее, полагая, что он сумеет создать свою собственную школу, подобную бутлеровской, взялся за изготовление динамита. Трижды выходили террористы на встречу с царем, но покушение так и не состоялось. Один из террористов, Андреюшкин, намекнул в письме к товарищу, что в России намечаются скорые перемены. Письмо попало в полицию, и за несколько мгновений до покушения все его участники были арестованы. На первом же допросе террорист Канчер сознался почти во всем. И сразу же был арестован Александр Ульянов. Начались допросы. И суд.

По крупицам, переворачивая горы архивных документов, протоколов допросов, воспоминаний современников, выбирая все, что могло иметь отношение к суду над Александром Ульяновым и его товарищами, готовил материал Валерий Осипов. И эта огромная подготовительная работа дала себя знать. Ни на миг, где бы ни находились читатели — в камере ли заключенного, на допросе у следователя, в суде или в крепостном дворе перед эшафотом, — всюду не оставляет их ощущение реальности, вещественности всего происходящего. Вплоть до преследующего запаха струганых сосновых досок.

Я уже не говорю о том, с каким мастерством выписаны главные герои — Ульянов, Генералов, Андреюшкин и другие. Несколькими точными штрихами изображены струсившие и во всем сознавшиеся на допросах Канчер, Горкун и Волохов. С большим тактом и точностью созданы образы следователей и членов императорского суда — жандармского ротмистра Лютова, товарища прокурора Котляревского, судей и сенаторов Дейера, Ягна, Лего, Окулова и, наконец, обер-прокурора Неклюдова, в недалеком прошлом ученика Ильи Николаевича Ульянова. Враг — воспользуемся этим термином — предстает живым, со своими странностями, человеческими слабостями, со своим сугубо индивидуальным характером. А эпизоды в зале суда во время допросов, когда, казалось бы, незаметно, исподволь раскрывались характеры каждого участника, вызвали ассоциации со сценой суда в «Воскресенье» Льва Толстого.

Естественно, центральной фигурой судебного процесса был Александр Ульянов, все взявший на себя, ничего не отрицающий и доказывающий свою правоту. Вернее, правоту своего

дела. Скамья подсудимых была для него той трибуной, с которой он должен был сказать свое слово, свое завещание России, грядущим революционерам. Приговор был ясен с самого начала. Но Александр обязан был победить на суде. А для того чтобы победить, чтобы вызвать к жизни новую волну борцов с самодержавием, следовало заново пережить всю свою недолгую жизнь, заново все осмыслить. Потому что победить можно было только четкой и строгой системой доказательств, мыслью. И мы становимся свидетелями, соучастниками этого нелегкого процесса. Мы вдруг забываем, что нашему герою на днях исполнился двадцать один год. Перед нами необычайной силы интеллект, борец, редкой красоты личность. Но вот математически стройную систему размышлений прерывает эмоциональный взрыв, и мы с душевной болью сознаем, что перед нами юноша, которому всего только двадцать один год.

Роман Валерия Осипова написан в двух крупных самостоятельных планах, где второй план — семья Александра Ульянова, за исключением Марии Александровны и Ани, — прямо не участвует в судебном процессе, составляющем основу книги. Владимир, Дмитрий, Оля, Маняша, соученик Владимира, — все они составляют тот огромный мир, которому принадлежит будущее. И главное место в этой линии романа принадлежит Владимиру Ульянову. Ему еще семнадцать лет. Трагедия старшего брата воспринимается им как личная, семейная трагедия. Захолустный Симбирск живо откликнулся на известие из Петербурга, даже директор гимназии Федор Михайлович Керенский, кстати сказать, отец будущего главы Временного правительства, друг покойного Ильи Николаевича, боится поставить себя в двусмысленное положение. Что ж, такова жизнь, и Владимир Ульянов обязан познать ее во всех проявлениях, иначе он, сын действительного статского советника и брат казненного цареубийцы, никогда не сможет найти тот единственно правильный путь в революцию, который не нашел его старший брат. Еще долго будет стоять за его спиной могучая фигура Александра, долго будет ходить по России речь, произнесенная на суде. Будут участие в студенческой сходке, исключение из Казанского университета за участие в студенческих волнениях и, наконец, первая высылка под гласный надзор полиции. Но уже близко прозрение.

На чердаке дома в деревне Кокушкино Владимир находит подшивку старых журналов «Современник» со статьями Чернышевского, с его стальной фигурой Рахметова. Еще не вооруженный теми знаниями, которые придут к нему позднее, он освобождается от растерянности и тяжелого одиночества. А зимой 1889 года, уже в Казани, куда ему было разрешено вернуться, в каталоге библиотеки братьев Покровских он обнаружит в разделе политической экономии под номером один «Капитал» К. Маркса.

«С восторгом первооткрывателя, — пишет Осипов, — наблюдает он, как развязываются все тугие драматические узлы непокорной до этого его уму сложной и противоречивой действительности, как заново, рождая в нем самом неизвестную ему еще энергию и не вкушенные им еще страсти, объединяются между собой вокруг него явления и предметы по новым законам и правилам».

Но применима ли наука Маркса к русским условиям? Теоретики народничества ее отрицали. Очевидно, подобных взглядов придерживался и Александр. Значит, он был неправ? Вопрос задан, и он требовал ответа. Мы с вами переворачиваем последнюю страницу романа.

«По всей вероятности, еще не осознавая в полной мере исторического значения хода своих мыслей и рассуждений, девятнадцатилетний Владимир Ульянов совершал — пока еще только в своем сознании, в остродраматической для себя форме отказа от героических идеалов старшего брата — гениальный переход к следующему этапу русской революции».

За последние годы роман Валерия Осипова «Апрель» выдержал четыре издания. Мне кажется, это говорит о многом.

Виктор ***ВУЧЕТИЧ***

СОДЕРЖАНИЕ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
О. ПОПЦОВА, Э. ХРУЦКОГО

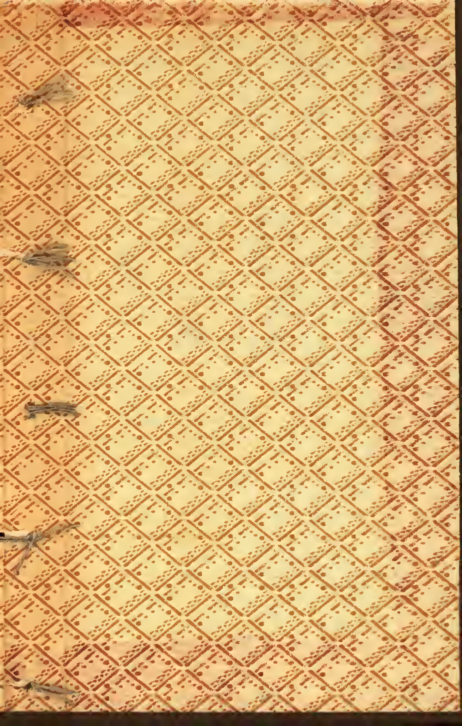
Приложение к журналу «Сельская молодежь», т. 6. М., «Молодая гвардия», 1976 г.
224 стр.

Роман В. ОСИПОВА «Апрель» посвящен жизни брата Владимира Ильича Ленина — Александра Ульянова.

Редактор-составитель Э. Хруцкий
Оформление А. Шипова и А. Толкачева
Обложка В. Федорова
Художественный редактор Н. Михайлов
Технический редактор А. Коноплева

Сдано в набор 16/XI 1976 г. Подписано к печати 1/IV 1977 г. Формат 84×108[1]/32. Бумага № 3. Печ. л. 7. (усл. 11,76). Уч.-изд. л. 13,8. Тираж 300 000 экз. Цена 35 коп. Заказ 2082.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.




35 коп.
Подвиг

